

Максим Петровский



Неизвестная
сущность

18+

Максим Петровский

Неизвестная сущность

<https://litres.ru/74685899>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он наблюдает за Землей уже шестой век. Для него человеческие эпохи, уездные города и государственные границы — не более чем мерцающий узор на серверах, а местные законы, чиновники и бандиты подчиняются простейшим уравнениям механики. Но даже у древнего космического оператора, уже шесть веков скованного неведомым законом с чужой платой, появляются свои подопечные — бывший кавалерийский офицер, холодная аристократка и молчаливая девочка, пытающиеся заново укорениться в заброшенном пятистенке на окраине

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Говорящая собака	65
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Неизвестная сущность

Пролог



В февралe две тысячи двадцать шестого года старый уездный Гороховск, лежащий ровно в шестидесяти верстах к юго-западу от Санкт-Петербурга, окончательно размок, осел в болотную низину и подался вширь, словно брошенный в придорожную канаву яловый сапог. Балтийская гнилая оттепель тянулась уже третью неделю кряду. Низкое, набухшее свинцовой сыростью небо лежало прямо на плоских рубероидных крышах силикатных пятиэтажек и почерневших коньках деревянных слободских изб, не оставляя между землей и тучами ни малейшего просвета для ветра. Мокрый снег на Первомайской улице давно утратил всякое сходство с чистой зимней водой: перемолотый тысячами шипованных покрышек, густо замешанный на рыжей дорожной химии, крупном карьерном песке и раздавленных сигаретных фильтрах, он громоздился вдоль обочин тяжелыми, ноздреватыми валами цвета отработанного автола.

Когда по разбитому асфальту, с натужным дизельным воem проваливаясь в полные черной жижи колдобины, проползал очередной пригородный ПАЗик или заляпанная по самые стекла маршрутка со стороны Гатчинского шоссе, в воздухе долго стоял густой, жирный чад недогоревшей солярки. Мелкая водяная взвесь, поднятая колесами, оседала на гнилых штакетниках, на голых прутьях бузины и на чугунных крышках водопроводных люков, оставляя во рту всякого редкого прохожего солоноватый, ржавый привкус казен-

ного запустения.

Но чем плотнее сгущались над слободкой сырые февральские сумерки, тем ядовитее и нахальнее разгоралось над этой слякотью искусственное пластмассовое зарево. В ста шагах от глухой кирпичной стены Всехсвятского кладбища, где Первомайская улица упиралась в бывшую Сенную площадь, теснились в ряд обшитые дешевым вентфасадом торговые коробки. Красные, кричащие во всю ширь карнизов короба «Магнита» и «Пятерочки» спорили с пронзительным, ягодно-фиолетовым гляncем пункта выдачи «Wildberries» и холодным синим щитом «Ozon», прилепившимся к облупленному боку дореволюционной купеческой лавки. Этот мертвый, лишенный всякого тепла диодный свет не рассеивал туман, а лишь пропитывал его липкой цветной муťou. Отражаясь в маслянистых лужах и мокром ледяном насте, фиолетовые, багровые и синие пятна превращали старую окраину в какое-то вывернутое наизнанку торжище одноразового утиля, где даже сырой воздух казался упакованным в шуршащий полиэтилен.

Дом Павла Александровича Релитова стоял на самом рубеже этого неонового морока, вжавшись задней глухой стеной в старую, позеленевшую от лишайника и выщербленную вековыми морозами кирпичную кладку Всехсвятского погоста. Это был добротный лиственничный пятистенок с высокими узкими ставнями и крытым тесовым крыльцом, срубленный еще в начале прошлого века и доставшийся Павлу

Александровичу осенью тысяча девятьсот восемьдесят девятого года после смерти бабки. Время и балтийские туманы выдубили толстые бревна до черноты мореного дуба, мох в пазах давно окаменел и осыпался, но сруб все еще держал тепло с угрюмым, кряжистым упрямством старой вещи, пережившей своих мастеров.

Внутри дома стояла густая, сухая, почти одуряющая жара. Никаких дровяных печей здесь давно не топили: в углу просторной кухни, зашитом листом кровельного железа, ровно и сыто гудел современный напольный газовый котел АГВ. За круглым смотровым окошком в его стальном брюме день и ночь плясала корона плотного синего пламени, а раз в несколько минут в нагретой тишине комнаты сухо, отчетливо, словно взводимый курок старого револьвера, щелкала остывающая и вновь смыкающаяся термопара. От котла вдоль всех бревенчатых стен, опоясывая кухню и смежную горницу, тянулись в два обхвата толстые чугунные трубы-регистры, выкрашенные поверх давней окалины вязкой бурой половой эмалью.

От этих раскаленных чугунных цилиндров вверх поднимался непрерывный, колеблющийся ситцевые занавески ток горячего воздуха, в котором плотными, не смешивающимися слоями висела вся долгая и неприкаянная жизнь хозяина. Здесь пахло перегретой на металле вековой пылью, терпким живичным скипидаром, прогорклым льняным маслом, застарелым водочным перегаром и кислой овчиной старого

полушубка, брошенного на сундуке в сенах.

Посреди кухни, под низко спущенным на витом шнуре матовым стеклянным абажуром, стоял широкий стол, затянутый выцветшей клеенкой с облезлыми желтыми подсолнухами. Почти всю его середину занимал лист плотного чертежного ватмана, придавленный по углам чугунным утюгом и поллитровой банкой с засохшими беличьими кистями. Поперек ватмана красной гуашью и черной тушью, крупным рубленным шрифтом советских времен было выведено слово «АВТОЗАПЧАСТИ» — эскиз вывески для придорожного бокса у железнодорожного переезда, который бывший лучший художник-оформитель Гороховского дома культуры пытался закончить вот уже третью неделю. Работа застряла на последних буквах: некогда безупречный, твердый глазомер изменил старику, линии засечек поплыли и дали трещину, а прямо поверх карандашной сетки отпечатались бурые липкие кольца от донышек граненых стаканов. Рядом с ватманом, на расстеленном развороте бесплатной муниципальной газеты, пестревшей глянцевыми, сытыми физиономиями областных кандидатов, лежал скрученный сухим винтом, потемневший от соли селедочный хвост и горстка золотистой луковой шелухи.

Павел Александрович Релитов стоял у старого разошедшегося буфета, тяжело навалившись грудью на край столешницы и упираясь в нее обеими руками. Ему шел семьдесят первый год, но за последнюю зиму он сдал так резко, буд-

то из него вынули несущую распорку. Высокий, некогда плечистый старик в просторной, линялой на локтях клетчатой фланелевой рубаше и растоптанных войлочных шлепанцах на босу ногу казался теперь сбитым из сухой, трухлявой щепы. Его крупные, длиннопалые руки мастерового — руки, некогда без единой линейки выводившие аршинные кумачовые транспаранты к ноябрьским праздникам и писавшие парадные портреты передовиков для районной Доски почета, — были густо усыпаны плоскими кофейными бляшками печеночных пятен и мелко, неудержимо колотились.

За тонкой дощатой дверью в неотапливаемых сенях и прямо за порогом крыльца, в подтаявшем ноздреватом сугробе, громоздилась целая батарея пустых водочных поллитровок с размокшими, сползшими чулком этикетками. Но сейчас, в седьмом часу февральского утра, во рту у Релитова стояла такая сухая, шершавая горечь, словно он всю ночь напролет жевал известковую крошку со старой кладбищенской стены.

Не отрывая левой ладони от буфета, старик правой, мелко пляшущей в воздухе рукой потянулся к краю стола, где возле газеты лежала пустая желтая пачка «Camel 1913 Original». На ее плотном картонном доньшке чернел четкий фабричный штамп: «210 руб., ООО „Петро“». Дрожащие ногти заскребли по золотистой фольге, но внутри не оказалось ни одной сигареты — лишь мелкая рыжая табачная труха в уголках. Павел Александрович глухо, с сиплым присвистом в бронхах выругался и поднял тяжелые, набрякшие свинцовой

желтизной веки к навесному шкафчику над чугунной эмалированной раковиной.

Там, на верхней полке, за двумя трехлитровыми банками с окаменевшей еще с позапрошлого лета перловой крупой и пачками лаврового листа, в сухой темноте хранился его неприкосновенный запас — четыре тугих, хищно поблескивающих целлофаном блока точно таких же желтых пачек, купленных с январской пенсии. Он всегда брал их с огромным избытком, про запас, словно готовился к долгой осаде или ждал, что в дом вот-вот нагрянет курящий гость. Но чтобы достать новый блок, нужно было сделать два шага к мойке и поднять руки выше плеч, а под ребрами, чуть левее грудины, с самой полуночи ворочался какой-то тупой, налитый горячим чугуном жернов, не дававший вздохнуть полной грудью.

Релитов сжал пустую пачку в кулаке, сминая плотный картон с изображением одnogорбого верблюда, и медленно повернул голову к пустому венскому стулу с гнутой спинкой, аккуратно придвинутому к противоположному краю стола.

— Вот видишь, Алеша... — сипло, с трудом разлепляя пересохшие, потрескавшиеся губы, произнес старик в нагретую тишину кухни. — Опять отец без табаку сидит. В шкаф лезть надо, а ноги, понимаешь, будто ватой набили... Ты бы хоть позвонил под выходной. Понимаю, область, селектор, у вас там в Ростове вечно то министерская комиссия, то губернаторский объезд... Но ведь и я тут не казенный. Семь-

десять лет разменял, шуточное ли дело...

Венский стул молчал. На его темной, отполированной за полвека ладонями дужке висело перекинутое вдвое серое вафельное полотенце, заскорузлое от старых цинковых белил и масляного кобальта. Напротив этого стула, прямо на клеенке, с вечера стояла перевернутая вверх дном чистая стопка — жест, повторенный столько тысяч раз, что он давно перестал требовать участия мысли.

Никакого Алеши на свете не было. И никогда не рождалось.

Вся эта долгая, обраставшая за десятилетия подробностями, чинами, марками служебных автомобилей и семейными неурядицами жизнь ростовского сына выросла из одной-единственной минутной трусости и брезгливости тридцатисемилетней давности. Осенью тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, когда тридцатичетырехлетний Павел Релитов, так и не устроивший ни семьи, ни путного угла на юге, приехал хоронить бабуку да так и осел в этом приграничном к кладбищу срубе под Ленинградом, деревянная Первомайская слободка обступила чужака вязким, удушливым кольцом. Здесь не умели и не желали жить вмолчанку. Соседки в пуховых платках у водоразборной колонки, старики на лавках у ворот, кассирши в булочной и бабы из профкома Дома культуры смотрели на высокого, угрюмого, вечно пахнущего скипидаром бобыля с тем жадным, бесстыдным захолустным подозрением, от которого нельзя было отгоро-

диться никаким забором. Его выспрашивали в лоб, с притворным участием заглядывая в глаза: отчего один? Уж не бросил ли кого с приплодом? Не сидел ли по дурной статье? Отчего белье на веревке только мужское и почему по праздникам к калитке никто не стучит?

Он терпел два месяца, отмалчивался, желваки ходили под скулами, а потом, в какой-то промозглый ноябрьский вечер у хлебного фургона, не выдержал. Чтобы разом заткнуть эти липкие, пахнущие чужими щами рты и отвоевать себе право на покой в собственном доме, он прямо в глаза самой крикливой соседке со злобной, отчетливой убедительностью отрубил: есть семья. В Ростове-на-Дону осталась. Жена после тяжелых родов слегла, врачи строго-настрого запретили в здешнее балтийское гнилье и туманы везти, а при ней — годовалый сынишка малый, Алешка, с восемьдесят восьмого года, второй год пошел. Вот и приходится жить на два города, горбатиться на оформлении витрин да каждый месяц львиную долю заработка телеграфом на юг переводить.

Вранье сработало безотказно, точно казенная гербовая печать. Слободка мгновенно сменила подозрительность на уважительную, почтительную жалость. Над ним перестали посмеиваться, бабы у колонки при его появлении понижали голос и вздыхали о тяжелом мужском кресте, а сам Павел Александрович неожиданно для себя обнаружил, что в этой выстроенной из воздуха крепости удивительно тепло и покойно прятаться не только от соседей, но и от собственной

пустой постели.

Годы шли, советская власть сменилась кооперативными ларьками, потом пришли сетевые универсамы с пластмассовыми вывесками, ремесло художника-оформителя вымерло, вытесненное бездушной широкоформатной печатью на баннерной ткани, а невидимый ребенок в далеком солнечном Ростове продолжал исправно расти. Релитов не просто врал участковому майору Кравцову или мужикам у пивного ларька — он добросовестно, год за годом достраивал биографию несуществующего человека. В девяносто пятом Алешка «пошел в первый класс с углубленным английским», в две тысячи пяти «поступил на юридический в ростовский университет», потом «удачно женился на девушке из хорошей, старинной семьи, взял девочку-сиротку из приюта, пошел по линии областного управления».

Чем сильнее сдавали почки и печень, чем реже звонил дверной колокольчик и чем страшнее становилось смотреть по утрам в мутное зеркало над рукомойником, тем плотнее выдуманный сын входил в эту кухню. Последние лет десять, оставшись совсем один и запивая дешевую водку черным растворимым кофе, Релитов разговаривал со стулом уже вслух. Он покупал на рынке лишний кусок дорогой грудинки «на случай, если Алешка без звонка с трассы завернет», держал в шкафчике четыре блока хороших крепких сигарет, какие, по его разумению, только и пристало курить солидному тридцатисемилетнему начальнику, и до хрипо-

ты, до пьяных стариковских слез оправдывался перед пустой гнутой спинкой за неубранную кухню и дрожащий шрифт на ватмане. Выдумка съела создателя без остатка: граница между тем, что было, и тем, чего не могло быть никогда, стерлась, оставив лишь глухую, сосущую тоску по человеку, которого он сам же и вылепил из собственного страха перед небытием.

У самой нижней чугунной трубы, плотно прижавшись широким черным боком к горячему металлу и положив тяжелую лобастую голову на вытянутые передние лапы, лежал Люцифер — четырехлетний крупный лабрадор, которого Релитов забрал щенком с дальнего кордона, когда помер его единственный старый товарищ, районный охотовед Кузьмич.

Пес не спал, хотя его мощное, литое тело с густой, лоснящейся в полумраке шерстью оставалось совершенно неподвижным. Широкие влажные ноздри собаки мерно раскрывались, втягивая тяжелый, слоистый воздух кухни: сухой зной раскаленной бурой эмали, горькую пыль рассыпанного табака, едкий дух скипидара и кислый запах остывающего человеческого пота.

Для Того, кто смотрел сейчас на мир сквозь собачьи зрачки и кто без малого шестьсот лет — с самой дождливой осени тысяча четыреста двадцать шестого года — таился в складках земной жизни, в этом убогом стариковском быте не было ничего ни жалкого, ни отталкивающего. Напротив: каждая грубая, косноязычная подробность этого дома отзы-

ввалась в нем глубоким, почти сладостным покоем. Ему доставляло острое, ни с чем не сравнимое удовольствие ощущать через чуткую собачью шкуру, как гудит в котле сжигаемый газ, как давит на перепонки сырое февральское давление за окном, как пахнет заветренная рыба и дешевый ярославский табак. Все здесь имело свой вес, свою шероховатость, свой предел и свою неизбежную изнанку — и именно эта теплая, смертная, несовершенная тяжесть материи была единственным на свете доказательством того, что жизнь еще не превратилась в выхоленную пустоту.

Люцифер медленно приподнял массивную голову и посмотрел снизу вверх прямо в переносицу стоящему у буфета старику. В темных, глубоко посаженных глазах пса под крутыми надбровными дугами не было ни собачьей угодливости, ни тревоги за хозяина; из-под черных век, чуть тронутых у внешних уголков едва заметной, сухой ироничной складкой, на художника глядела спокойная, все знающая наперед бездна, перед которой шесть человеческих столетий были короче одного вздоха.

Павел Александрович поймал этот неподвижный взгляд, моргнул слезящимися глазами, хотел было прикрикнуть на пса или пожаловаться ему на ростовское безмолвие — и вдруг внутри его грудной клетки что-то коротко, туго и беззвучно оборвалось, словно лопнула перетянутая до предела басовая струна.



Воздух мгновенно перестал проходить в легкие. Раскаленный чугунный жернов под левой лопаткой вдруг разлетелся на тысячи острых, зазубренных стеклянных игл, пронзивших плечо, шею и левую челюсть. Релитов судорожно, с коротким горловым всхлипом разинул рот, хватая сухую жару кухни, и наотмашь взмахнул правой рукой, пытаясь удержаться за край буфетной полки.

Его скрюченные пальцы сбили стоявший на краю граненый стакан, на треть заполненный вчерашней мутной смесью из выдохшейся водки и холодного растворимого кофе. Стакан со звонким, коротким ударом разлетелся о край чугунной ножки стола, выплеснув на некрашенные половицы темную липкую лужу, а второй, пустой, стоявший рядом, глухо покотился по доскам к самой стене.

Колени старика подломились сами собой. Он тяжело, всем своим костлявым семидесятилетним весом рухнул сперва на четвереньки прямо в кофейно-водочную сырость, среди крупных граненых осколков, а затем медленно, нелепо завалился на правый бок, глухо ударившись небритой скулой о гнутую ножку того самого венского стула, перед которым столько лет исповедовался по ночам.

Лицо его на глазах меняло цвет, наливаясь тяжелой, землистосерой синевой, какая бывает у февральского льда в глубокой колее. Черный лабрадор бесшумно поднялся с половика, подошел неспешным, мягким шагом и остановился в вершке от запрокинутой старицовой головы, обнюхивая покрывшийся крупными каплями ледяного пота лоб.

Губы Релитова, уже тронутые по краям сизым ободком, мелко задрожали; в правом углу рта надулся и лопнул мелкий розовый пузырек. Мутный, уходящий внутрь зрачок на мгновение сфокусировался на черной собачьей морде.

— Лютик... — едва слышно, одними перехваченными связками прошелестел старик, и его пальцы с коричневыми пятнами в последний раз бессильно скребнули по мокрой доске пола. — Ты это... слышишь... Алешку не беспокой... он в Ростове... У него там... проверка... Не надо...

Под линиялой фланелевой рубахой что-то глухо, с долгим водянистым переливом булькнуло; широкий кадык на дряблой шее дернулся вверх, застыл, и грудная клетка плавно, окончательно осела вниз, выпустив остаток теплого воздуха

с запахом старого табака и корвалола.

В кухне наступила густая, ватная тишина. Только за железным кожухом в углу по-прежнему ровно, с сонной неутомимостью гудела газовая горелка в котле АГВ да спустя полминуты звонко и сухо щелкнула термопара, отсекая подачу на запальник и тут же включая ее вновь.

Сущность внутри собачьего тела не шелохнулась. В ее древнем, свободном от человеческой сентиментальности сознании смерть старого рисовальщика не вызвала ни сожаления, ни безразличия — только мгновенную, безупречно выверенную оценку изменившейся обстановки.

Пытаться запустить заново это семидесятилетнее, изношенное до последней нитки тело с разорванной сердечной мышцей, пропитанной алкоголем печенью и забитыми известковой накипью сосудами было пустой тратой сил: даже под прямым управлением такая ветхая материя начала бы разваливаться через несколько суток. Взять под контроль кого-нибудь из живых обитателей Гороховска было тем более немыслимо. Бодрствующий мозг живого человека — эта хрупкая, хаотичная, непрерывно искрящая страхами, желаниями и животным током белковая сеть — не выдерживал прямого соприкосновения с плотностью древнего сознания ни одной доли секунды: нейроны вспыхивали и выгорали, как сухая береста в кузнечном горне, выбрасывая в верхние слои земной ионосферы такой чудовищный, ничем не прикрытый всплеск, что запеленговать беглеца не составило бы

труда даже на краю звездного сектора.

Но старый выпивоха, сам того не подозревая, за тридцать семь лет своего тихого безумия приготовил для Него дар поистине бесценный. Он выстроил безупречную социальную пустоту. В домовых книгах, в памяти соседей по Первомайской слободке, в разговорах с участковым майором Кравцовым и в казенных папках опорного пункта уже больше трех десятилетий числился «сын из Ростова-на-Дону» — человек, которого здесь никто и никогда не видел в лицо, но в чьем существовании никто не сомневался. Стоило заполнить эту пустую ячейку осязаемой плотью, снабдить ее правильными казенными бумагами — и неповоротливая государственная машина сама сомкнет над этим домом свои шестеренки, узаконив наследника и надежно прикрыв старый пятистенки от чужих глаз.

Оставалось лишь соблюсти закон холодного экрана. Чтобы присутствие внутри дома оставалось абсолютно глухим, темным и непроницаемым для любого внешнего поиска, вокруг точки покоя должен был замкнуться тройной контур из тех, чья кровь давно откипела, чьи мозги прошли через полную биологическую смерть, остыли в сырой земле и навсегда утратили собственный электрический шум. Запущенные заново на строго заданной, ровной частоте и намертво сцепленные друг с другом узлом давней человеческой вины, три таких пересобранных сознания работали лучше любого свинцового купола.

И весь необходимый материал лежал буквально за стеной — в десяти саженьях от остывающего на кухонном полу тела.

Черный лабрадор спокойно отвернулся от мертвеца, мягко переступил через темную кофейно-водочную лужу, не замочив когтей, толкнул тяжелым лбом неплотно притворенную дверь в сени и через лаз под нижним венцом крыльца бесшумно выскользнул в сырую предрассветную мглу.

Стоило псу обогнуть угол листовенничного сруба и нырнуть в узкий, заросший сухим чернобыльником пролом в старой кирпичной кладке Всехсвятского кладбища, как ядовитое неоновое сияние Первомайской улицы отрезало, словно тяжелым суконным занавесом.

Сюда, под вековые разлапистые ели и корявые, почерневшие от балтийской сырости березы, не долетал ни фиолетовый глянец пунктов выдачи, ни дизельный чад первых утренних маршруток. Над старым городским погостом стоял плотный, неподвижный февральский туман, густо настоенный на запахе прелой листвы, мокрого кованого железа, старой гранитной крошки и глубокого, нетронутого подполья. Снег между оградами лежал глубокий, тяжелый, подернутый сверху шершавой ледяной коркой, с которой в полной тишине мерно, точно отсчитывая секунды на водяных часах, срывались и падали в наст тяжелые капли растаявшего инея.

Люцифер двигался по занесенным центральной и боковым аллеям без малейшего шороха, почти не продавливая широкими лапами обледенелый наст. Миновав свежие квар-

талы с черными полированными плитами и искусственными пластмассовыми венками, он свернул влево, в низинный советский сектор семидесятых годов.

Здесь было тесно и сиротливо. Низкие, сваренные из водопроводных труб и крученого железного прута ограды, некогда крашенные дешевой алюминиевой серебрянкой, а ныне сплошь покрытые бурой шелушащейся ржавчиной, стояли так близко друг к другу, что между ними едва мог протиснуться человек. Внутри одной из таких кривых клеток, под старой рябиной, из просевшего серого сугроба торчала узкая, сколоченная из кровельной жести четырехгранная пирамидка, выкрашенная облупившейся синей масляной краской и увенчанная жестяной пятиконечной звездой. К лицевой грани пирамидки двумя ржавыми шурупами был привернут овальный эмалированный медальон с выцветшим до бледной сепии фотопортретом и полустертой черной надписью: *«Ермолаева Нина. 1964 — ноябрь 1976»*.

Черный пес остановился у самой калитки ограды, не имевшей засова, опустил тяжелую морду и неподвижно уставился сквозь туман на провалившийся под снегом холмик.

В кладбищенском воздухе не сверкнуло ни искры, не пронеслось ни порыва ветра. Только где-то глубоко внизу, на полутораметровой глубине, в слое слежавшейся синей кембрийской глины и промерзшего песка произошло немое, неодолимое смещение плотности. Древняя воля, для которой распад белковой ткани и рассеяние кальция были лишь

обратимой перестановкой простейших частиц, спокойно и властно протянула невидимую руку сквозь толщу грунта, нащупала угасшую полвека назад матрицу и одним беззвучным усилием вернула каждую клетку, каждый сосуд и каждую нить одежды в то самое состояние, в каком они находились за миг до гибели.

Тяжелый, налитанный талой водой снежный пласт над могилой вдруг глухо, протяжно ухнул и осел вниз, словно под ним разом сомкнулась пустота, а в следующее мгновение плотная твердь беззвучно расступилась, выталкивая на поверхность возвращенную форму, и тут же сомкнулась вновь, не оставив на поверхности ни комьев грязи, ни разрытой ямы.

Прямо на сером ледяном насте, у самого подножия синей жестяной пирамидки, неуклюже подвернув под себя худенькие ноги в грубых казенных ботинках и плотных коричневых чулках в рубчик, сидела двенадцатилетняя девочка.

Поверх темно-коричневого советского школьного платья со строгими продольными складками на груди, из-под ворота которого выбивались помятые концы красного пионерского галстука из ацетатного шелка, на ней было надето кургузое, слежавшееся в плоские каменные заломы темно-серое байковое пальтецо с потертым цигейковым воротником. Рядом на снегу, завалившись на бок, лежал старый, потрескавшийся на сгибах школьный портфель из темно-коричневого кожзаменителя с двумя жестяными замками. От байкового

сукна, от портфеля и от самой девочки остро, густо тянуло не гнилью, а глубоким, непроветриваемым зимним погребом, сырым известняком и вековой каменной стужей.

Она сидела, низко уронив голову на грудь. Вдоль ее узкой, вздрагивающей спины поверх серого пальтеца лежала длинная, густая, туго заплетенная девичья коса темно-русого цвета, перехваченная на самом конце полинялой, некогда голубой капроновой лентой; несколько тонких, влажных от тумана прядок выбились у висков и прилипли к высоким, не по-детски очерченным скулам.

Девочка медленно, с усилием подняла лицо и разомкнула ресницы. Лицо у нее было узкое, бледное, удивительно тонкой и глубокой лепки, с большими, чуть раскосыми серыми глазами, в которых даже сейчас, в первую секунду после возвращения из полувековой тьмы, стояла тихая, взрослая, недетская печаль.

Грудь ее судорожно поднялась, впуская в легкие первый глоток сырого февральского воздуха. Никакого благодного пробуждения не было — был тяжелый, оглушающий своей внезапной плотностью ушиб возвращенного бытия. Ей показалось, что секунду назад она брела сквозь какую-то невыносимо долгую, вязкую, бесконечно ветвящуюся сказку без начала и конца, где не было ни холода, ни времени, ни собственного имени; сказка эта длилась целую вечность, но стоило холодным кристаллам тумана коснуться гортани, как весь этот полувековой сон осыпался без следа, точно сухая

известка со стены.

А на его месте в памяти с пугающей, режущей зрачки четкостью вспыхнул хмурый ноябрьский вечер тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Задний двор гороховского интерната номер восемь, голые кусты бузины, гудящая за железной дверью с черепом и скрещенными костями кирпичная трансформаторная будка и мокрый от первого снега старый плюшевый медведь, которого старшие пацаны из шестого «Б» ради смеха зашвырнули прямо за фарфоровые ребристые изоляторы. Она помнила, как лезла сквозь прутья решетки, как тянулась пальцами к плюшевой лапе, как воздух перед самым ее лицом вдруг раскололся с сухим пушечным грохотом, превратившись в ослепительно-белое, с фиолетовой каймой солнце в шесть тысяч вольт, и как запахло паленой шерстью ее собственного пальто.

Нина зябко повела худенькими плечами, машинально пригладила ладонью выбившуюся у виска русую прядку, перекинула тяжелую косу со спины на грудь и посмотрела прямо перед собой.

В двух шагах от нее, за низенькой ржавой оградкой, неподвижно сидел на снегу огромный широкогрудый черный пес и спокойно смотрел ей в глаза.

Девочка не испугалась и не вскрикнула — интернатская закваска семидесятых годов приучила ее встречать любую непонятную вещь прищуренным, цепким, оценивающим взглядом. Она лишь крепче запахнула на груди полы

казенного пальтеца, подтянула к себе за ремешок потертый школьный портфель и спросила негромким, чуть сипловатым с мороза голосом:

— Ты чей, собака? Сторожевский, что ли?

Лабрадор не шевельнулся, только из его широких ноздрей вырвалось короткое облачко белого пара. Нина огляделась по сторонам, всматриваясь в незнакомые, покосившиеся в тумане кресты, чужие оградки и черные стволы елей, которых не было и в помине возле кирпичной будки интерната, потом снова перевела свои большие печальные глаза на пса и добавила с легкой, растерянной детской заботой:

— А мишку моего плюшевого тут не видал? Бурый та-кой, опилками набитый, у него еще левое ухо черной суровой ниткой пришито... Я ведь за ним за решетку полезла, а тут свет как вдарит... Как же я сюда-то забрела?



Пес сделал полшага вперед, просунул массивную черную морду между ржавыми прутьями оградки и на одно долгое, безмолвное мгновение соединил свой древний, неподвижный взгляд с ее серыми зрачками.

Внутри тонкого, остывшего за пятьдесят лет в кембрийской глине и только что запущенного заново детского мозга что-то мягко, безболезненно и окончательно встало на место. Никаких слов не потребовалось: невидимый обруч чужой, неизмеримо более могущественной воли сомкнулся вокруг ее сознания, убирая лишние вопросы, гася панику и отодвигая ноябрь семьдесят шестого года с его трансформаторной будкой и плюшевым медведем за глухую стеклянную перегородку. Лицо девочки разгладилось, обретая деловитую, сосредоточенную ясность.

Она молча оперлась ладошкой о холодный жестяной бок собственной пирамидки, легко поднялась на ноги, отряхнула прилипшие к подолу коричневого форменного платья ледяные крупинки и взяла в руку старый портфель.

Черный лабрадор развернулся и размеренной, бесшумной рысцой побежал прочь из советского сектора — туда, где в глубине погоста, за вековыми липами и занесенными снегом оврагами, темнели тяжелые каменные памятники старого, дореволюционного Гороховска. Нина, поправив на груди сбившийся пионерский галстук и засунув свободную руку в мелкий карман байкового пальто, без единого слова зашага-

ла след в след за собачьими лапами.

Стародворянская часть Всехсвятского кладбища лежала на высоком пологом взгорье, куда в девятнадцатом столетии свозили покойников из окрестных усадеб и богатых гороховских особняков. Здесь не было ни жестяных пирамидок, ни дешевой серебрянки: сквозь сизую кисею тумана проступали массивные чугунные решетки художественного литья с копьями и маковыми головками, позеленевшие бронзовые барельефы, наклонившиеся мраморные ангелы с отбитыми носами и тяжелые, вросшие в землю саркофаги из финского гранита.

Люцифер остановился на развилке узкой, засыпанной черной хвоей дорожки перед высокой четырехгранной колонной из черного полированного габбро. Камень, несмотря на сто с лишним лет балтийских дождей и лишайников, сохранил угрюмый, зеркальный блеск; у его вершины виднелся след от сбитого некогда бронзового герба, а посередине выбитые глубоким старинным шрифтом с ятями и твердыми знаками строки гласили:

*«Потомственный дворянинъ, отставной гвардіи корнетъ
Алексѣй Романовичъ Загорскій. Родился 14 октября 1858 г.
— скончался 19 марта 1890 г.»*

Пес сел у края чугунной цепи, ограждавшей участок, и уперся взглядом в нетронутый сугроб у подножия черного цоколя. Стоявшая рядом Нина спокойно опустила свой потертый портфель на снег у ноги и стала ждать.

Земля под гранитным основанием вздрогнула сильнее и тяжелее, чем в советском секторе. Промёрзший наст треснул глухой извилистой молнией, просел внутрь, и из раздвинувшейся сырой мглы прямо к холодным граням черного габбро вытолкнуло грузное, широкоплечее мужское тело.

Человек не сел — он сперва рухнул грудью и локтями на обледенелые ступени цоколя и с диким, надсадным, рвущим голосовые связки клекотом втянул в себя ледяной туман, словно вынырнул со дна зимней проруби. Это был статный, высокий мужчина тридцати одного года, с крупным, породистым, резко очерченным скуластым лицом и густыми, сбившимися от сырости русыми усами. Одет он был в плотный, помятый на сгибах темно-зеленый гвардейский китель тонкого офицерского сукна со споротыми погонами, узкие суконные рейтузы и высокие кавалерийские сапоги с твердыми голенищами, от которых за версту несло вековой кладбищенской глиной, холодным железом и окислившейся медью.

Судорожно глотая мокрый воздух и сгребая растопыренными пальцами ледяную крупу с гранита, корнет Загорский рывком вскинул обе руки к голове и мертвой хваткой вцепился ладонями в правый висок.

Там, на два пальца выше скуловой кости, у самого края русого виска, не было ни крови, ни раздробленной кости — подушечки его ледяных пальцев нащупали лишь гладкий, плотно стянутый к середине, круглый и твердый, как серебряный гривенник, старый рубец.

В его оглушенном, выдернутом из стотридцатишестилетнего небытия сознании все еще стоял оглушительный, раздирающий черепную коробку грохот револьверного выстрела. Для него не прошло ни единой минуты с того проклятого мартовского вечера тысяча восемьсот девяностого года здесь же, в Гороховске. Перед его внутренним взором, накладываясь на сырые кладбищенские ели, все еще метались багровые пятна свечей в зеленом сукне карточного стола, где он к расцвету проиграл в штосс последние полковые деньги и закладную на имение; все еще стояла тишина полутемной спальни в особняке генеральши Доробогатовой на Дворянской улице, хруст рассыпавшегося по ковру футляра с бриллиантовым колье ее покойной матери и страшный, сухой скрип зеленого шелкового шнура от портьеры, которым он в каком-то слепом, трусливом умоисступлении затягивал и затягивал тонкую, быющую под его пальцами шею Ангелины Ивановны.

А следом — бегство по мартовской слякоти в родительский дом на Московской улице, тяжелый запах ладана и камфоры в отцовском кабинете, суровое, высеченное из серого камня лицо старика-генерала, молча выслушавшего признание сына, повернувшегося к нему спиной и указавшего глазами на ящик бюро, где лежал заряженный казенный «смит-вессон». Он помнил захлебывающийся, тонкий вой матери за запертой двустворчатой дверью гостиной, помнил, как задрожали стекла от страшного, именем закона ломающего дубовую филенку грохота полицейских прикладов вниз в при-

хожей, помнил ледяной кружок вороненого ствола у правого виска и короткое, сухое усилие указательного пальца на спусковом крючке.

Он умирал с твердой, бесповоротной уверенностью, что свинцовая пуля в четыре линии навсегда ставит точку и гасит этот позор. Но вместо спасительного ничто вокруг него стоял сырой, промозглый туман, чернели какие-то могильные решетки, а грудь раздирало от необходимости снова и снова втягивать этот проклятый ледяной воздух.

Загорский медленно отнял дрожащие ладони от рубца на виске, поднял искаженное немим метафизическим ужасом лицо к черной колонне над своей головой и прочитал собственное имя и дату смерти, выбитые в габбро.

— Господи Иисусе... — глухо, совершенно белыми губами выговорил он, и его баритон — чистый, сухой, безупречно поставленный голос пристольного гвардейского офицера — прозвучал среди ржавых оград и мокрых елей с пугающей, музейной отчетливостью. — Значит, пуля не избавляет... Значит, они не лгали. Это и есть преисподняя...



Стиснув зубы так, что под скулами вздулись твердые желваки, корнет уперся обеими ладонями в полированный край гранитного цоколя, пытаясь подняться с колен во весь рост, — и вдруг замер, глядя на собственные руки.

С его телом происходило нечто немыслимое, от чего волосы на затылке зашевелились сами собой. Одинокое сознание убийцы, выдернутое из земли в отрыве от той, чью жизнь он оборвал и чьей смертью купил свой выстрел, не имело собственной опоры в мире живых: разомкнутое звено причинно-следственной цепи отказывалось держать материальную плотность.

Кисти его рук, лежавшие на черном камне, вдруг подернулись мелкой, частой зыбью, точно отражение в луже под порывом ветра. Бледная кожа, вздувшиеся вены на тыльной

стороне ладоней и темное офицерское сукно обшлагов начали стремительно терять вес и непроницаемость, расслаиваясь на мутные, дрожащие серые полосы. Загорский сжимал пальцы, но вместо твердой опоры чувствовал пустоту: прямо сквозь его полупрозрачные фаланги, сквозь кости запястий и сукно рукава отчетливо, во всех мельчайших подробностях просвечивали зерна черного габбро, бурые еловые иглы и ноздреватый снег.

Ужас этого беззвучного распада был страшнее револьверного дула. Прямо под ребрами, с левой стороны груди, где только что с тяжелым стуком пыталось завестись сердце, расползалась сквозная, ничем не заполненная ледяная прореха. Оттуда, из этой внутренней дыры, тянуло таким абсолютным, до-звездным сквозняком небытия, что края его кителя вокруг грудной клетки начинали куриться тонкой серой пылью, готовые вот-вот осыпаться на снег горсткой сухого пепла.

— Вставайте, дяденька, нечего на камне рассиживаться, — раздался в двух шагах спокойный, будничный детский голосок. — Тут сыро, да и рассыплетесь совсем, пока дойдем.

Корнет резко повел головой. Сквозь мутную пелену, застилавшую зрачки, он увидел худенькую девочку в сером байковом пальтеце, с длинной русой косой поверх красного галстука и потертым портфелем в руке, а рядом с ней — огромного черного пса, чьи темные глаза смотрели на него с тяжелой, нечеловеческой внимательностью.

— Кто ты?.. — задыхаясь от ледяного сквозняка в груди и тщетно пытаясь удержать расплывающиеся в тумане пальцы левой руки, прохрипел Загорский. — Что это за место? Почему я... почему сквозь меня виден снег?!

— Пошли давай, тут рядом, — не отвечая на его метания, по-хозяйски скомандовала Нина и протянула вперед свободную узкую ладошку, не касаясь, однако, его дрожащего рукава. — Сейчас вашу тётеньку поднимем, сразу поправитесь.

И прежде чем гвардеец успел осознать смысл ее слов, та же невидимая, неодолимая тяжесть, что минуту назад вытолкнула его из-под гранитной плиты, взяла его за плечи, поставила на неверные, теряющие плотность ноги в тяжелых сапогах и повлекла за собой вниз по косогору, вслед за черной спиной собаки.

Тропинка круто сбегала в сырую, поросшую старым ольшаником лощину на самом краю дворянского сектора. Там, вжавшись задней стеной в глинистый откос оврага, стоял приземистый, сложенный из темно-красного каленого кирпича и облицованный по фасаду серым потемневшим мрамором фамильный склеп. Над низким треугольным фронтоном, опиравшимся на две облупленные дорические колонны, еще сохранился высеченный в камне княжеский герб с горностаевой мантией, а под ним — полустертая надпись: *«Усыпальница рода князей Мещерскихъ и генерала отъ инфантеріи И. П. Доробогатова»*.

Тяжелая двустворчатая решетка с коваными крестами

давно просела на ржавых петлях и стояла полуоткрытой, впуская внутрь лощины густой, неподвижный запах столетней каменной пыли, сухих известковых сводов и угасшего церковного воска.

Люцифер остановился у первой, стертой посредине гранитной ступени, пропуская девочку вперед. Загорский, шедший следом и державшийся обеими полупрозрачными руками за грудь, где под сукном мундира все шире разверзалась ледяная пустота, при виде этого герба и этих кованых дверей застыл как вкопанный. Лицо его перекосилось; он сделал судорожную попытку податься назад, в кусты ольшаника, но воздух позади его спины мгновенно уплотнился в глухую стену, не позволившую отступить ни на полвершка.

Нина тем временем деловито поставила свой школьный портфель у дверного косяка и шагнула под низкий сводчатый потолок усыпальницы.

Внутри склепа царил сухой, серый полумрак, едва разбавленный мутным февральским светом, пробивавшимся сквозь узкую стрельчатую бойницу под самым куполом. Посреди каменного пола на массивных гранитных львиных лапах возвышался тяжелый саркофаг из серого мрамора. Массивная профилированная крышка его уже была сдвинута на треть в сторону, обнажая темное нутро, высланное по краям истлевшим, рассыпающимся от одного взгляда в серую паутину серебряным глаzetом.

В этой сухой каменной тишине внутри саркофага раздал-

ся легкий, сухой шелест слежавшейся ткани.

Над краем мраморного борта медленно, с какой-то нездешней, деревянной и в то же время пугающе величавой прямизной в спине поднялась женская фигура. Ей было двадцать семь лет. На ней было старинное, сшитое по петербургской моде конца восьмидесятих годов девятнадцатого века закрытое платье из тяжелого темно-синего шелка, слежавшееся за сто тридцать шесть лет в мелкую, острую как лезвие гармошку, и наброшенная на плечи черная бархатная тальма, подбитая выцветшим соболем. Тяжелые, густые волосы цвета воронова крыла были уложены на затылке в сложный, чуть растрепавшийся узел, открывая узкое, породистое лицо с высокими скулами, тонким горбатым носом и кожей такой немислимой, мраморной белизны, что на ее фоне даже февральский снег за решеткой казался грязно-серым.

Но не эта аристократическая бледность поражала в ней в первую секунду. Обе ее узкие, длиннопалые кисти с тонкими синими жилками были судорожно, до хруста в суставах прижаты к собственному высокому горлу. На гладкой коже шеи, под кружевным воротничком-стойкой, не было ни багровой борозды, ни кровоподтеков — физическая ткань была возвращена в полной неприкосновенности, — однако каждая связка, каждый хрящ ее гортани и вся ее очнувшаяся память все еще задыхались в мертвой, неумолимо сжимающейся петле зеленого шелкового шнура от спальной гардины.

— Воды... — с сухим, тонким, царапающим тишину склепа свистом вырвалось из ее сведенного спазмом горла.

Пальцы княжны судорожно разжались, пытаясь сорвать несуществующую удавку, и ее огромные, черные как антрацит глаза, еще подернутые ледяной поволокой небытия, широко раскрылись, уставившись в сводчатый потолок усыпальницы, а затем медленно опустились на стоявшую у края саркофага девочку с русой косой.

Несколько долгих секунд генеральская вдова смотрела на советское школьное платье, на алый треугольник пионерского галстука и на бледное, серьезное личико ребенка, тщетно пытаясь совместить эту картину со своей спальней на Дворянской улице.

— Девочка... — голос Ангелины Ивановны, все еще глухой и надтреснутый от фантомного удушья, сразу же, по врожденной привычке столбовой дворянки, взял высокую, холодную, повелительную ноту. — Ты кто такая? Как ты сюда попала и где Дуняша? Почему в спальне такой нестерпимый холод?!

— Нина. Из восьмого интерната, — спокойно и четко, как на пионерской линейке, ответила девочка и протянула через мраморный борт свою узкую ладошку с короткими ногтями. — Нету тут никакой вашей Дуняши, тетенька. Вылезайте давай, не бойтесь. Вас там на улице дяденька ждёт.



Княжна с ледяным, инстинктивным сословным высокомерием отвела взгляд от протянутой детской руки в казенном байковом рукаве. Не позволяя себе ни стога, ни слабости, она сама оперлась обеими ладонями о холодный мраморный край саркофага, с видимым усилием перенесла через высокую стенку онемевшие ноги в узких шелковых полуботинках на пуговках и, шурша жестким, пахнущим столетней каменной пылью темно-синим подолом, спустилась на каменные плиты пола.

Держа спину идеально прямо, точно на великосветском приеме, и лишь одной рукой все еще судорожно придерживая у подбородка края бархатной тальмы, Ангелина Ивановна шагнула из полумрака склепа через растворенную кованую решетку прямо на сырой февральский снег.

И в ту же самую долю секунды, когда каблук ее туфли коснулся наружной гранитной ступени, стоявший в трех шагах у ольхового куста корнет Загорский вздрогнул всем телом, будто через него пропустили разряд гальванической батареи.

Цепь замкнулась. Палач и жертва оказались в одном пространстве, под одним небом. Мутная, призрачная рябь, размывавшая контуры его офицерского кителя и рук, мгновенно схлопнулась со звуком туго натянутого паруса; сквозная ледяная дыра под левыми ребрами исчезла, и в грудной клетке Загорского с тяжелым, гулким, почти болезненным толчком ударило живое, полное густой горячей крови сердце. Его пальцы снова обрели твердую кость и мускульную тяжесть, а сапоги глубоко, по самую щиколотку продавили обледенелый наст.

Ангелина Ивановна подняла голову на этот хруст снега — и увидела его.

Загорский стоял перед ней в своем помятом гвардейском кителе без погон, высокий, бледный, с густыми русыми усами и белым круглым рубцом на правом виске.

Лицо генеральской вдовы, казавшееся предельным воплощением бледности еще в саркофаге, вдруг побелело до какой-то мертвенной, фосфоресцирующей синевы. Ее черные зрачки расширились так, что почти поглотили радужку, а левая рука снова судорожно метнулась к горлу.

— Нет... — выдохнула она шепотом, а затем голос ее сорвался на высокий, звенящий под голыми ветвями ольшани-

ка, полный невыносимого омерзения и ужаса крик: — Нет! Это что же... это новый круг ада?!

— Да какой ещё ад, тётенька? — с легкой, будничной досадой перебила ее вышедшая следом из склепа Нина, подхватывая с камня свой коричневый портфель и переступая с ноги на ногу в толстых казенных башмаках. — Вы просто проснулись!

Ангелина Ивановна даже не повернула головы в сторону ребенка. Вся вековая выдержка петербургских гостиных и гороховских дворянских собраний слетела с нее, оставив лишь чистую, дистиллированную, не остывшую за сто тридцать шесть лет ненависть. В два стремительных, совершенно бесшумных шага по глубокому снегу она оказалась вплотную перед своим убийцей, и прежде чем Загорский успел хотя бы шевельнуть бровью, узкая, твердая как кость, ледяная ладонь княжны со всего размаха сухо и хлестко рассекла воздух и ожгла его левую скулу.

Удар был такой силы, что голова корнета круто мотнулась вправо, а на бледной коже щеки мгновенно проступили четыре багровые полосы. Но Загорский не поднял руки, не отшатнулся и не опустил глаз — он лишь еще сильнее, по-строевому развернул плечи, свел каблуки сапог и вытянулся в струнку, опустив руки по швам рейтуз, словно стоял на плацу перед полковым судом.

— Мерзавец, — тихо, не повышая больше голоса ни на полтона и не допуская ни единого площадного слова, произ-

несла Ангелина Ивановна, но в этом ледяном, отточенном дворянском презрении было столько яда, что сам сырой туман между ними, казалось, зазвенел от натяжения. — Нищетожество и карточный вор. Ты вырос в соседнем имении, тебя принимали в моем доме как человека чести, тыпил мой чай и смел касаться губами моей руки... а потом, проигравшись в притоне, подкрался со спины к незащищенной женщине и удавил меня шнуром от моей же портьеры ради матушкиного бриллиантового кольца! Мне не хватило воздуха даже на последнюю молитву, а теперь мне приказано делить с тобой и могилу?!

— Княжна... Ангелина Ивановна, — глухо, совершенно ровным, сухим и чистым слогом столичного офицера ответил Загорский, глядя прямо перед собой поверх ее темного узла волос в серое небо. — Ваше презрение совершенно справедливо, и я не ищу ни малейшего снисхождения. Но смею вас заверить: я уплатил по этому кровавому векселю сполна в тот же самый вечер, девятнадцатого марта, в кабинете моего отца на Московской улице, пустив пулю из казенного револьвера в собственный висок. Если бы мое присутствие здесь зависело от моей чести или моей воли, я бы предпочел сгинуть в тартарары в полном одиночестве.

— Свои векселя вы оба еще даже не начинали оплачивать, — негромко, спокойно и необыкновенно веско произнес детский голос снизу.

И гвардейский корнет, и столбовая дворянка осеклись на

полуслове и одновременно, словно по команде невидимого дирижера, опустили головы.

Между ними на истоптанном снегу стояла двенадцатилетняя девочка в сером байковом пальтеце с длинной русой косой, перевязанной полинялой лентой, а у ее левого колена, плотно прижавшись черным плечом к подолу коричневого школьного платья, неподвижно сидел широкогрудый лабрадор.

Но от прежней угловатой воспитанницы восьмого интерната, минуту назад толково рассуждавшей о сырости и плюшевом медведе, в этом ребенке не осталось ничего. Тонкое, бледное лицо Нины мгновенно окаменело, утратив всякую детскую мимику и всякий возраст; в углах сомкнутых губ пролегла легкая, усталая, полная надмирной иронии складка, а из-под густых ресниц на двух дворян девятнадцатого века глянула такая бездонная, ледяная, видевшая рождение и гибель миров древность, что у Загорского перехватило горло сильнее, чем при распаде плоти, а гордая княжна Мещерская, не в силах выдержать этого взгляда, беззвучно отступила на шаг к решетке склепа.

Тот, кто смотрел сейчас на них сквозь серые глаза советской школьницы, не нуждался ни в угрозах, ни в театральных эффектах — самая плотность его мысли давила на их пересобранные, послушные умы, как многотонная гранитная плита.

— Слушайте меня внимательно и навсегда оставьте свои

уездные трагедии при себе, — ровно, негромко и раздельно проговорила девочка, и каждое ее слово без малейшего сопротивления впечатывалось прямо в подкорку обоих воскресших. — Ваш тысяча восемьсот девяностый год истлел. Сегодня на календаре февраль две тысячи двадцать шестого года. За этой кирпичной стеной, на полу своего дома, лежит мертвый старик, художник Павел Александрович Релитов. Через сорок минут в его калитку войдут казенные люди этого века — полиция и врачи. И встретите их вы.

Девочка чуть повернула голову с тяжелой косой к вытянутому по струнке офицеру:

— Ты, корнет Загорский, с этой минуты — его единственный законный сын, Релитов Алексей Павлович, тридцати семи лет от роду, прибывший сегодня ночью из города Ростова-на-Дону. Ты, княжна, — его супруга, Ангелина Ивановна Мещерская. А это тело, — она едва заметно коснулась пальцем своего пионерского галстука, — ваша четырнадцатилетняя приемная дочь Нина. Вы будете жить под одной крышей, есть за одним столом и играть эту роль без единой фальшивой ноты. И не пытайтесь отойти друг от друга дальше чем на сто шагов: ваша плоть держится только на вашей общей вине и на моей воле. Стоит одному из вас шагнуть за черту — и вы оба рассыплетесь в серую дорожную пыль прежде, чем успеете перекреститься. Вам все понятно?

Ни Загорский, ни Ангелина Ивановна не произнесли ни звука — да от них и не ждали ответа. Вопрос прозвучал лишь

как точка в конце приговора, обжаловать который было не перед кем.

Нина медленно моргнула. Свинцовая, нечеловеческая тяжесть в ее больших печальных глазах мгновенно погасла, отступив обратно в глубину спокойно сидящего на снегу черного пса; лицо девочки снова стало живым, чуть озябшим и по-детдомовски деловитым. Она поправила сползшую с плеча русую косу, перехватила поудобнее ручку портфеля и коротко бросила онемевшим дворьянам:

— Пошли давай. Снег в ботинки набился, да и старик там совсем остыл.

Черный лабрадор бесшумно поднялся с наста и повел их по боковой аллее к главным чугунным воротам Всехсвятского кладбища, выходящим на Первомайскую улицу.

Старые кованые ворота погоста с ржавым, протяжным визгом приотворились, и странная процессия один за другим выступила из кладбищенского тумана прямо на раскисший, залитый химической жижей тротуар февральского Гороховска.

Под мертвенным, бьющим по глазам светом диодных фонарей, на фоне красного короба «Пятерочки», синего щита «Ozon» и ядовито-фиолетовой, сияющей во всю стену соседнего дома вывески «Wildberries» эти четверо не просто выглядели чужеродно — они казались ожившим, вырезанным из старой гравюры и советского букваря сновидением, по ошибке вклеенным в дешевую пластмассовую декорацию

двадцать шестого года.

Впереди, спокойно помахивая тяжелым хвостом и чуть пригнувшись к запаху солярки, шел крупный, холеный черный лабрадор. За ним, твердо печатая шаг кавалерийскими сапогами прямо по бурой соленой каше и не замечая летящих на суконные рейтузы грязных брызг, двигался высокий усатый человек с военной выправкой в помятом гвардейском кителе без погон. Следом, высоко вскинув голову с тяжелым узлом черных волос и брезгливо приподняв одной рукой подол слежавшегося темно-синего шелкового платья, чтобы не запачкать его в маслянистой жиже, ступала мертвенно-бледная дама в бархатной тальме на плечах. Замыкала шествие худенькая девочка с длинной русой косой, перевязанной полинялой лентой, в коричневом школьном платье с красным пионерским галстуком под расстегнутым байковым пальто и со старым портфелем в руке.

Ангелина Ивановна шла, едва сдерживая физическую, подступающую к самому горлу дурноту. Сто тридцать шесть лет назад она оставила Гороховск тихим, чинным уездным гнездом с деревянными мостками, запахом березового дыма из печных труб, колокольным звоном Всехсвятской церкви и усадебными липами. То, что открылось ее черным глазам теперь, казалось ей не будущим, а каким-то омерзительным, триумфальным шествием взбунтовавшейся лакейской. Ее оскорбляло все: эти чудовищные, лишённые всякой архитектуры пластиковые сараи, раскрашенные в крикливые

ярмарочные цвета; этот уродливый, безграмотный шрифт на щитах без единого твердого знака; эта вонючая, разъедающая подошвы химическая грязь под ногами; эти ряды тусклых, одинаковых, облепленных серой коркой железных поезов без лошадей, брошенных прямо на газонах у покосившихся заборов. Весь этот век смердел дешевкой, спешкой и плебейским бесстыдством.

Загорский держался на полшага правее нее. Лицо его было непроницаемо и сухо, рука с затянувшимся шрамом на виске больше не дрожала, но острый взгляд гвардейца с напряженным, холодным любопытством фиксировал каждую деталь незнакомой диспозиции: стеклянные глазки уличных камер слежения под козырьком супермаркета, провода в черной изоляции, гудящий трансформаторный ящик и слепящие фары пролетевшего по перекрестку грузовика.

До калитки релитовского пятистенка оставалось не больше тридцати шагов, когда из-за угла круглосуточного магазина, прямо из фиолетового пятна света от витрины «Wildberries», им навстречу вывалилась пьяная парочка.

Шли они, широко забирая по обледенелому тротуару и громко, на всю пустую улицу гогоча над чем-то в светящемся экране смартфона. Парень — мордастый, короткошей, лет двадцати пяти, в расстегнутой на груди куцей болоньевой куртке, спортивных штанах с вытянутыми коленями и смятой полулитровой жестяной банкой дешевого пива в красной от холода пятерне. Под руку с ним, пошатываясь на толстых

подошвах-платформах, висла девица с надутыми, блестящими от липкого блеска губами, укутанная с головы до пят в необъятный, пронзительно-розовый дутый пуховик, делающий ее похожей на поставленный вертикально стеганный тюфяк.

Завидев вышедшую из кладбищенских ворот процессию, парень в болоньевой куртке осекся на полуслове, притормозил, качнувшись на пятках, и с тупым, пьяным изумлением уставился на суконный мундир Загорского, бархатную тальму княжны и пионерский галстук девочки.

Несколько секунд он шумно сопел, переваривая увиденное, потом звонко сплюнул сквозь зубы прямо в соленую жижу под ноги корнету и толкнул свою спутницу локтем в розовый бок:

— Опа-на... Слышь, Ксюха, глянь! А это ещё что за клоуны с погоста вылезли?

Девица оторвалась от телефона, прищурила густо наклеенные ресницы и расплылась в ленивой, глумливой ухмылке, оглядывая с ног до головы измятый вековой шелк Ангелины Ивановны:

— Твою ж мать... Бомжи, наверное? Точно бомжи, со свалки тряпье старое напялили! — она взвизгнула от собственного остроумия и ткнула пальцем с длинным пластмассовым ногтем в лицо генеральской вдове: — Слышь, графиня облезлая, вы че, театр потеряли или с поминок не просохли?!

Тонкие ноздри Ангелины Ивановны побелели и хищно раздулись. Загорский мгновенно, одним слитным движением кавалериста и бретера подался вперед, его правая рука по старой памяти метнулась к левому бедру, где полагалось висеть эфесу шашки, а сама княжна, забыв и про смерть, и про двадцать шестой год, выпрямилась во весь свой высокий рост и сделала резкий шаг к наглецам, поднимая руку, чтобы одним словом или пощечиной смести эту пьяную чернь в придорожную канаву.

Но прежде чем ее шелковый подол коснулся грязного ботинка парня, снизу метнулась узкая детская рука в сером байковом рукаве. Маленькие, ледяные и твердые, как стальные пассатижи, пальцы Нины намертво перехватили тонкое запястье княжны и без малейшего усилия осадили ее назад.

Девочка с русой косой вышла на полшага вперед, остановившись ровно посередине между замершими дворянами и пьяной парочкой, опустила портфель к ноге и медленно подняла свое тонкое, бледное лицо к фиолетовому свету фонаря.

В ту же секунду с пространством на Первомайской улице произошло нечто неуловимое и страшное. Далекий гул мотора на шоссе, дребезжание холодильников за стеной магазина и капель с крыш вдруг разом стихли, словно на весь квартал сверху опустили невидимый стеклянный колпак, из-под которого выкачали воздух. Сырой февральский туман вокруг фонарного столба сгустился до плотности расплав-

ленного свинца, давя на барабанные перепонки и грудные клетки.

Из-под длинных детских ресниц Нины на мордастого парня с пивной банкой и девицу в розовом пуховике-одеяле в упор посмотрела та самая безмолвная, нечеловеческая бездна. В этом взгляде не было ни злобы, ни угрозы — в нем было лишь абсолютное, ледяное равнодушие существа, которое смотрело на них так, как человек смотрит сквозь стекло микроскопа на копошащуюся в капле тухлой воды инфузорию, зная, что достаточно одного легкого движения мысли, чтобы вся их мелкая память, их имена и сама их белковая плоть перестали существовать.

— Идите уже своей дорогой, — тихо, почти ласково и совершенно ровно произнесла девочка.

Пьяная, наглая ухмылка не просто сошла с красного лица парня — его скулы свело такой первобытной, животной судорогой смертного ужаса, какая бывает у скотины на пороге бойни, когда в ноздри ударяет запах теплой крови. Сердце его заколотилось о ребра в бешеном, рваном ритме, дыхание перехватило, а пальцы правой руки разжались сами собой, лишённые всякой власти мозга.

Алюминиевая банка с глухим жестяным стуком ударилась об обледелый асфальт и покатилась в колею, выбрасывая в черную соленую слякоть белую, шипящую струю пивной пены.



Девица в розовом пуховике подавилась собственным смехом, судорожно, с тонким заячьим взвизгом всхлипнула, вцепилась обеими руками с пластмассовыми ногтями в рукав своего кавалера, и в следующее мгновение оба они, не сговариваясь, не оглядываясь и не разбирая дороги, бросились прочь. Они бежали в полном, слепом беспамятстве: парень поскользнулся на раскатанном льду, рухнул на одно колено прямо в бурюю жижу, вскочил, теряя шапку и подтягивая на бегу сползающую куртку, а девица, задыхаясь от беззвучного плача и путаясь в полах своего необъятного розового одеяла, неслась следом к спасительному перекрестку, подальше от кладбищенской стены и от стоявшего под фонарем ребенка с длинной косой.

Нина проводила их взглядом до угла, спокойно опустила

ресницы, вновь возвращая себе облик обычной двенадцатилетней школьницы, отпустила запястье все еще тяжело дышащей Ангелины Ивановны и толкнула калитку дома номер четырнадцать, куда уже бесшумно свернул черный лабрадор.

Когда они один за другим поднялись по скрипучим тесовым ступеням крыльца, прошли через темные, заставленные пустыми бутылками сени и переступили порог кухни, густой, стоячий зной раскаленных чугунных регистров ударил им в лица после кладбищенской сырости, словно распахнутое жерло паровозной топки.

В этом плотном, сухом мареве запахи живичного скипидара, перегретой бурой эмали, разлитой по половицам тепловой водки с кофе и тяжелый, сладковатый дух остывающего человеческого тела ощущались с удвоенной, почти осязаемой густотой. В углу за железным листом все так же ровно и сонно гудела синяя горелка котла АГВ, а термопара встретила вошедших сухим, четким металлическим щелчком.

Павел Александрович Релитов лежал на том же месте между разошедшимся буфетом и венским стулом, нелепо подвернув под грудь правую руку с кофейными бляшками печеночных пятен. Его небритая щека прижималась к липкой от пролитой бурды доске пола, а запрокинутое, заострившееся за этот час серое лицо с полуоткрытым ртом и подернутыми тусклой слюдяной пленкой глазами неподвижно смотрело вверх, на матовый стеклянный абажур.

Ангелина Ивановна, едва переступив порог и увидев в

двух шагах от своих туфель мертвого старика в линялой фланелевой рубаше и стоптанных войлочных шлепанцах, резко остановилась. Ее узкие плечи под бархатной тальмой вздрогнули от гадливости; она быстро прижала тыльную сторону ладони к губам и отвернулась к бревенчатому простенку, глядя в темное, запотевшее по нижнему краю окно. Загорский же посмотрел на покойника сверху вниз совершенно спокойно, с холодным, привычным равнодушием военного человека, видевшего смерть и в поле, и в собственном зеркале; он лишь аккуратно обошел рассыпанные по полу крупные осколки граненого стакана, чтобы не хрустнуть ими под каблуком сапога.

Нина поставила свой школьный портфель на табурет у двери, расстегнула пуговицы казенного байкового пальтеца и по-хозяйски, без малейшей детской робости или брезгливости оглядела кухню. Подойдя к клеенчатому столу, где рядом с эскизом вывески «Автозапчасти» лежала бесплатная предвыборная газета, она двумя пальцами сбросила с бумажного листа на клеенку сухой, скрученный селедочный хвост, сложила газету вдвое, опустилась на корточки возле тела и аккуратно, точно поправляя одеяло в интернатской спальне, накрыла печатным листом с улыбающимися кандидатскими физиономиями серое лицо старого художника.

От проходившей в полувершке над полом толстой чугунной трубы отопления поднимался сильный, непрерывный ток сухого раскаленного воздуха. Легкий газетный угол тот-

час затрепетал, вздулся парусом и пополз в сторону, снова обнажая небритый подбородок и сизую губу покойника.

Девочка недовольно цокнула языком, протянула руку к плинтусу, подняла второй, уцелевший при падении и откатившийся к стене чистый граненый стакан, деловито обтерла его донышко о полу своего пальтеца и поставила стакан прямо поверх газеты, ровно посередине остывшего стариковского лба, надежно придавив бумагу, как тяжелым конторским пресс-папье.

Поднявшись с колен, она указала подбородком на узкую филленчатую дверь за полинялой ситцевой занавеской в глубине кухни, откуда тянуло сырой побелкой, горячей ржавчиной и хозяйственным мылом:

— Там ванная и колонка газовая. Идите мыться по очереди, сперва тётянька, потом вы, дяденька. Смыть с себя всю землю и пыль дочиста, чтобы и духу кладбищенского не осталось. Живо, у нас времени в обрез.

Мылись долго, жадно и молча. За тонкой дощатой дверью с надсадным гулом вспыхнула старая газовая колонка, и в глубокую, с отбитой до черного чугуна эмалью у слива ванну с грохотом обрушилась тугая, пахнущая горячим железом и хлоркой струя крутого кипятка, мгновенно наполняя тесную каморку густыми клубами белого пара.

Для всех троих — и для княжны, сдиравшей с мраморной кожи сухую столетнюю паутину sklepa, и для корнета, смывавшего с плеч и груди вековую сырость кембрийской гли-

ны, и для девочки, расплетавшей под горячей струей свою длинную, пахнущую могильным погребом русую косу, — эта простая, обжигающая до красноты вода была потрясением почти невыносимым. Плоть, которую полчаса назад выдержали из ледяного небытия и собрали заново по крупичкам, под ударами кипятка окончательно просыпалась от векового оцепенения: капилляры расширялись, кожа жадно пила влагу и тепло, мышцы наливались живой, упругой усталостью, а в ушах ровно и мощно шумела разогнанная по жилам горячая кровь.

Но острее и глубже всех это грубое таинство материи переживал Тот, кто спокойно лежал сейчас на кухонном полуике у нижней трубы, полуприкрыв тяжелые собачьи веки и незримо присутствуя в каждом из трех нервных узлов своего контура. Через их обновленные рецепторы он с тихим, сосредоточенным упоением впитывал тяжесть горячих водяных струй, шершавое прикосновение серого вафельного полотенца, запах дешевого земляничного мыла и влажный пар, оседающий на известковой стене. Это была подлинная, не подделанная никакими вычислениями жизнь в самом ее первичном, бесхитростном и прекрасном веществе.

Старая одежда ушедших столетий, сброшенная ими на деревянную решетку у края ванны — плотный гвардейский китель образца Александра Третьего с суконными рейтузами и сапогами, слежавшееся темно-синее шелковое платье с бархатной тальмой, коричневое советское форменное платье

с алым пионерским галстуком, серое байковое пальто и потертый портфель у двери, — не осталась лежать уликой в доме. Как только надобность в прежней оболочке отпала и поддерживавшая ее структура воли была снята, ветхая ткань девятнадцатого и двадцатого веков беззвучно, без дыма и огня, осела сама в себя, превратившись в тончайшую, невесомую серую пыль, которую тут же подхватило сквозняком и без следа утянуло в вентиляционную отдушину под потолком.

В смежной горнице, на продавленном плюшевом диване, их уже дожидалась иная, сегодняшняя экипировка — простая, ношенная, не способная вызвать ни одного лишнего вопроса у самого придиричивого взгляда, собранная из старого хозяйского гардероба и перекроенная из окружающей материи с той же бесшумной точностью, с какой недавно сходилась их собственная плоть.

Загорский, насухо растерев широкую грудь и пригладив влажные русые усы перед мутным зеркалом, надел чистую, пахнущую хозяйственным мылом и сухим шкафом просторную клетчатую фланелевую рубаху покойного Релитова, темные суконные брюки и тяжелый, крупной домашней вязки серый шерстяной кардиган с глубокими карманами и деревянными пуговицами. Сюртука и погон больше не было, но столетняя гвардейская кость брала свое: даже в этом стариковском мешковатом трикотаже отставной корнет держал спину так прямо, а голову с круглым белым шрамом у правого виска нес с такой сухой, надменной военной осанкой,

словно стоял в парадном строю на Дворцовой площади.

Ангелина Ивановна вышла из горницы в глухом, закрытом под самое горло темно-синем трикотажном платье ниже колен и плотных черных чулках, кутая зябнущие плечи в широкий темный шерстяной платок. Влажные черные волосы она снова туго и гладко уложила на затылке; на ее белом, без единой кровинки лице с поджатыми губами застыло выражение ледяной, неприступной брезгливости человека, вынужденного ехать в общем вагоне третьего класса, но не намеренного ронять свое достоинство ни перед кем.

Нина же влезла в простые, чуть подвернутые снизу синие джинсы и великоватый ей в плечах мягкий серый шерстяной свитер с высокой горловиной. Встав у притолоки, девочка быстрыми, привычными движениями тонких пальцев переплела свои густые, влажные после мытья темно-русые волосы обратно в длинную аккуратную девичью косу, перехватила кончик тонкой черной резинкой и перебросила ее за спину.

Когда все трое снова собрались в жаркой кухне, на краю клеенчатого стола, прямо возле придавленного утюгом ватмана с недописанным словом «АВТОЗАПЧАСТИ», аккуратным, выверенным по линейке веером лежали три темно-красные книжечки в тисненых обложках с золочеными двуглавыми орлами.

Загорский подошел к столу и взял верхний документ. От плотной государственной бумаги с водяными знаками, от

бордового форзаца и тугой ламинированной страницы еще едва заметно тянуло свежей типографской краской и казенным переплетным клеем. С цветной фотографии в левом углу на корнета смотрело его собственное скуластое, породистое лицо со строгим прищуром, русыми усами и краем шрама у виска. Четкий шрифт удостоверял: *«Релитов Алексей Павлович, 1988 года рождения. Место жительства: г. Ростов-на-Дону...»* В графе семейного положения стоял свежий фиолетовый штамп о браке с гражданкой *Мещерской Ангелиной Ивановной*, чей паспорт лежал вторым, а третья книжечка со свидетельством об опеке значилась за четырнадцатилетней *Ермолаевой Ниной*.

Корнет медленно закрыл документ, положил его в карман серого кардигана на груди и перевел взгляд на девочку, которая уже сидела на табурете у подоконника, спокойно болтая ногами в толстых шерстяных носках.

— На буфете, возле хлебницы, лежит черная трубка с кнопками, — не глядя на него, ровным голосом сказала Нина. — Возьми ее, нажми подряд единицу, единицу, двойку и зеленую клавишу внизу. Когда ответит дежурная, назовешь адрес: Первомайская, четырнадцать. Скажешь, что приехали под утро из Ростова-на-Дону навестить отца, открыли дверь своим ключом, а он на полу в кухне без дыхания. Говори спокойно, без лишних слов.

Загорский молча кивнул, подошел к буфету и взял в ладонь старый, засаленный по бокам и обмотанный у крыш-

ки аккумулятора синей изолентой кнопочный мобильный телефон Павла Александровича. Пластмассовая коробочка с тусклым зеленоватым экранчиком показалась пальцам офицера девятнадцатого века невесомой и странной, но память, вложенная в него вместе с новыми бумагами, безошибочно подсказала движение. Он нажал три цифры, поднес аппарат к уху и, услышав в мембране длинный гудок, а следом — сонный, казенный женский голос диспетчера единой службы спасения, невольно еще сильнее выпрямил спину.

Он заговорил — и в душной, пропахшей скипидаром и водкой кухне уездного Гороховска снова зазвучала та самая безупречная, сухая, чеканная речь столичного гвардейского офицера и петербургского дворянина восемьдесят девяностого года, в которой каждое окончание выговаривалось с кристальной старорежимной чистотой, а в интонациях не было и тени южной, раскатистой ростовской скороговорки или манер современного областного чиновника:

— Милостивая государыня... прошу прощения, дежурный. Вас беспокоит Релитов Алексей Павлович. Город Гороховск, улица Первомайская, дом номер четырнадцать. Имею несчастье сообщить, что здесь скоропостижно скончался мой батюшка... мой отец, Релитов Павел Александрович, семидесяти лет от роду. Обнаружен нами на полу кухни без малейших признаков дыхания, по всей видимости — апоплексический удар или разрыв сердца. Будьте столь любезны распорядиться о высылке по указанному адресу наряда

полиции и кареты скорой медицинской помощи для освидетельствования тела. Прибыли с супругой из Ростова-на-Дону пол часа назад, ожидаем представителей власти на месте. Благодарю вас.

Загорский нажал красную кнопку отбоя, аккуратно положил телефонный аппарат обратно на край буфета рядом с жестяной хлебницей и, повернувшись к столу, медленно опустился на тот самый венский стул с гнутой спинкой и серым полотенцем, перед которым покойный хозяин дома тридцать семь лет кряду вымаливал прощение у пустоты.

Ангелина Ивановна, не говоря ни слова и стараясь даже краем темного платья не коснуться накрытого газетой тела на полу, прошла к противоположной стороне стола и села на деревянную лавку у бревенчатой стены, сложив узкие бледные кисти на коленях и устремив невидящий взгляд черных глаз поверх ватмана с вывеской «Автозапчасти».

До прибытия казенных людей оставалось не больше десяти минут.

В кухне повисла густая, почти осязаемая предрассветная тишина. Было слышно, как за темным, слезящимся по углам стеклом окна с крыши в наст редко и тяжело падают капли февральской оттепели, как в железном нутре котла АГВ ровно, с сонной неутомимостью шумит синее газовое пламя и как раз в несколько минут сухо и звонко щелкает термopара. На полу, в двух шагах от их ног, под листом бесплатной предвыборной газеты, придавленной ко лбу граненым стака-

ном, окончательно остывал старый художник, а у раскаленной чугунной трубы, положив тяжелую морду на лапы, неподвижно лежал черный пес.

Загорский посидел с минуту, глядя на свои крупные, вернувшие живую тяжесть руки на клеенке с облезлыми подсолнухами, а затем его взгляд скользнул к краю стола, где возле горстки луковой шелухи лежала вторая, початая с вечера желтая пачка «Camel 1913 Original» с черным штампом на доньшке: «210 руб., ООО „Петро“» — и деревянный коробок спичек с обгорелым серным боком.

Корнет медленно протянул руку, взял пачку и вытянул из нее сигарету с желтым пробковым фильтром. Папирос Богданова или Лаферма здесь не было, но пальцы старого курильщика мгновенно узнали плотную набивку сухого табачного листа. Он неспешно размял бумажный цилиндр между большим и указательным пальцами, зажал сигарету в углу рта под русым усом, с коротким сухим треском чиркнул спичкой о коробок и, прикрыв огонек ладонью по давней полковой привычке, глубоко, до самого дна легких затянулся.

Сухой, едкий, с тяжелым запахом жженой селитрованной бумаги и дешевой химической горечью дым обжег отвыкшую за сто тридцать шесть лет могильного холода грудь, резко осел на пересохшей гортани и заставил кровь толкнуться в запястьях быстрее. Загорский едва заметно поморщился от этого пустого, ненастоящего табачного привкуса, при-

крыл на секунду глаза, медленно выпустил через ноздри тонкую сизую струю к закопченному потолку кухни, а затем, не произнося ни слова и не поднимая взгляда, двумя пальцами пододвинул желтую пачку с верблюдом и коробок спичек по липкой клеенке через весь стол — прямо к белым рукам Ангелины Ивановны.

Генеральская вдова не шевельнулась. Ее спина под темным шерстяным платком оставалась все такой же прямой и каменно-неприступной. Несколько долгих секунд она смотрела сверху вниз на дешевую картонную коробочку, потом медленно подняла свои огромные черные глаза на лицо человека, который сто тридцать шесть лет назад задушил ее шелковым шнуром в собственной спальне, а теперь сидел напротив в чужой стариковской кофте и молча предлагал ей табак над чужим мертвецом.

В ее взгляде по-прежнему стояла бездонная, неугасимая ненависть — но сквозь эту ненависть вдруг проступила общая, непосильная для одинокого разума тяжесть возвращенного бытия и ледяной холод того склепа, откуда их обоих только что выдернули.

Узкая, мраморно-белая кисть княжны Мещерской медленно разжалась на коленях и легла на клеенку. Тонкими, чуть вздрагивающими пальцами она вытянула из пачки сигарету, неумело, по-дамски поднесла ее к губам и чуть наклонила голову вперед, к живому желтому язычку спички, которую, приподнявшись со стула, молча и почтительно под-

нес ей через стол корнет.

Она втянула в себя воздух — и едкий, сухой дым жженой селитры и прессованной бумажной трухи разом ударил по гортани, хранившей мышечную память удавки. Ангелина Ивановна дернулась, зажмурилась и глухо, надрывно закашлялась, прижав ладонь к шее; на ресницах выступили злые слезы. Загорский не отвел взгляда, ожидая, что она отшвырнет окурок на пол.

Но княжна не бросила ее. Справившись со спазмом в перехваченном горле и глотнув жаркого кухонного воздуха, она с каким-то мрачным, отчаянным, чисто русским аристократическим упрямством снова поднесла тлеющий огонек к бледным губам и сделала вторую, глубокую затяжку — чувствуя, как эта грубая, обжигающая горечь дешевого табака выжигает из ее груди вековую известковую пыль саркофага и подтверждает, что она дышит.

И в ту же минуту сбоку, со стороны окна, через угол стола совершенно буднично, без всякого спроса и церемоний протянулась тонкая детская рука в великоватом рукаве серого свитера.

Нина ловко, двумя пальцами выбила из желтой пачки третью сигарету, чиркнула спичкой с такой уверенной, заученной сноровкой, какая дается только на задворках советского детдома за котельной, привычно зажала фильтр в самом уголке рта и, прищулив левый глаз от выющейся вдоль щеки едкой голубой струйки, спокойно откинулась спиной с длин-

ной русой косой к теплomu бревенчатому простенку.

Никто из взрослых не сказал ей ни слова.

Они сидели втроем за убогим кухонным столом уездного Гороховска — гвардейский корнет девятнадцатого века, задушенная им княжна и советская школьница семьдесят шестого года смерти — и молча курили фабричную бумажную труху над прикрытым предвыборной газетой телом художника. Пепел падал в пустое блюдо возле соленого селедочного хвоста, в углу мерно гудел газовый котел, а под потолком сплетались в один мутный пласт три струи едкого, серого дыма.



А внизу, у раскаленной чугунной трубы, черный лабрадор шумно втянул ноздрями спустившуюся к полу едкую табачную гарь, коротко фыркнул, отводя нос в сторону от сквоз-

няка, и снова положил тяжелую морду на вытянутые передние лапы. Все трое были на месте, часы на стене шли, и в этом доме наконец сомкнулась глухая, темная тишина.

Вдруг далеко в конце Первомайской улицы, прорезая сырой предрассветный туман, тонко и требовательно взвыла полицейская сирена. Звук стремительно приблизился, взревел у самого забора, переваливаясь через ледяные ухабы, и, захлебнувшись на низкой ноте прямо напротив калитки, разом смолк.

Сквозь мутное, запотевшее стекло кухонного окна внутрь жаркой комнаты ворвались беззвучные, ритмичные, режущие полумрак синие и красные вспышки проблесковых маячков. Холодные синие блики заскользили по бревенчатым стенам, по бурым трубам отопления, по листу ватмана с криклым словом «АВТОЗАПЧАСТИ», по бледным лицам курильщиков за столом и начали дробно, остро вспыхивать и преломляться в толстых гранях пустого стакана, стоящего на накрытом газетой лбу покойника.

Во дворе, за калиткой, хлопнула тяжелая железная дверца казенного автомобиля. Под чьими-то грузными, неспешными сапогами сухо и громко заскрипел схватившийся к утру ледяной наст — тяжелые шаги участкового майора Кравцова приближались к деревянному крыльцу.

Трое за столом не шевелились, глядя сквозь сизые клубы табачного дыма на закрытую кухонную дверь и ожидая первого стука.

Глава 1. Говорящая собака

Синие вспышки за мутным, заплывшим по нижнему краю ледяным куржаком стеклом не гасли. Они били с улицы сквозь сырой февральский туман короткими, беззвучными очередями — раз, два, пауза, и снова двойной холодный рощерк по бревенчатым стенам кухни, по бурой эмали чугунных труб, по листу плотного ватмана с недописанным словом «АВТОЗАПЧАСТИ» и по толстым граням пустого стакана, стоявшего посередине накрытого газетой стариковского лба. Внутри этого граненого цилиндра синий полицейский свет дробился на десятки мелких, острых осколков, отчего казалось, будто прямо на лице покойного Павла Александровича Релитова холодно и мерно пульсирует кусок синего колотого льда.

Во дворе, под навесом тесового крыльца, тяжело заскрипели расшатанные ступени. Кто-то грузный, обутый в казенную зимнюю обувь на толстой рифленой подошве, с глухим стуком оббил носки ботинок о деревянный брус порога, сшибая налипшую соленую кашу с песком. Следом звякнула железная щеколда наружной двери, и в темных неотопливаемых сенях раздалась короткая, глухая возня: идущий впереди задел носком сапога батарею пустых водочных поллитровок у стены, и бутылки с пустым стеклянным перезвоном покатались по кривым половицам.

— Черт бы тебя побрал, Павел Александрович, и при жизни пройти негде было, и после смерти склад развел... — глухо, без всякого выражения, как говорят люди, не спавшие вторые сутки кряду, проворчал за дверью низкий, прокуренный мужской голос.

В филенку кухонной двери коротко, твердо, но без излишнего усердия постучали согнутым пальцем — ровно два раза, для порядка, — и, не дожидаясь ответа, нажали на железную скобу.

Дверь подалась внутрь, впуская в раскаленную, накуренную кухню длинный седой язык сырого уличного холода. Парок мгновенно клубами пополз по полу, смешиваясь с восходящим током жара от чугунных регистров и заставляя газетный лист под граненым стаканом мелко задрожать.

Первым через высокий порог переступил участковый уполномоченный майор Сергей Кравцов.

Ему было пятьдесят четыре года, и больше двадцати из них он топтал этот участок вокруг Всехсвятского кладбища, Сенной площади и прилегающих деревянных улиц. Это был грузный, ширококостный, с сутулыми плечами и тяжелым животом мужчина в расстегнутом у горла темно-синем форменном бушлате с потертым меховым воротником и сбившейся на затылок зимней шапке с кокардой. Лицо у него было крупное, рыхлое, землистого оттенка от хронического недосыпа, с глубокими складками у крыльев мясистого носа и тяжелыми, набрякшими веками. В левой руке он держал

пухлую дерматиновую папку на молнии, зажав под мышкой мокрую от растаявшего снега меховую рукавицу.

За его широкой спиной в кухню протиснулся второй — узкоплечий, совсем еще молодой паренек лет двадцати трех в темно-синей куртке районной «скорой помощи» со светоотражающими серебристыми полосами на груди и рукавах. В руке фельдшер нес рыжий пластмассовый чемоданчик-укладку с белым крестом, исцарапанный по углам до матовой белизны.

От обоих вошедших разом пахнуло в сухую духоту избы тем специфическим, тяжелым духом ночной казенной службы: мокрой псиной промокшего сукна, тающим дорожным реагентом, холодным железом, дизельным выхлопом уазика и дешевым растворимым кофе из пластиковых стаканчиков, которым они отпаивались на пересменке. Кравцов не спал с вчерашнего утра — сперва оформлял бытовую поножовщину в общежитии бывшего кирпичного завода, потом три часа стоял под мокрым снегом на Гатчинском шоссе, где лесовоз подмял под себя маршрутку, — и теперь в этом перегретом срубе со знакомым запахом скипидара и сивухи его мутило от усталости и желания поскорее закрыть бумагу.

Участковый остановился в полушаге от порога, стащил с головы сырую шапку, обнажив редкие, прилипшие ко лбу седые волосы, и медленно обвел взглядом кухню.

В помещении стоял плотный, слоистый сизый чад. Пахло не тем крепким, благородным табаком, какой почудился

воскресшим в первую минуту после могильной стужи, — теперь, в трезвом свете кухонной лампочки, в воздухе висел едкий, кислый, чисто бумажный гарный дух фабричных сигарет, набитых резаной жилкой и пропитанных химическим соусом на заводе «Петро».

За столом под матовым абажуром сидели трое.

Загорский при звуке открывшейся двери поднялся с венского стула во весь свой высокий рост. Он стоял в просторной клетчатой рубаше покойного художника и мешковатом сером кардигане с деревянными пуговицами, но держался так, будто на нем был застегнутый на все крючки гвардейский мундир: плечи развернуты, подбородок чуть приподнят, руки спокойно опущены вдоль бедер. На его правой скуле еще не сошла бледно-розовая тень от недавней пощечины, а чуть выше, у самого края русого виска, под тусклым светом лампы отчетливо белел гладкий, круглый, втянутый внутрь рубец.

На деревянной лавке у бревенчатой стены, не шелохнувшись при появлении полиции, сидела женщина с лицом такой мертвенной, алебастровой белизны, что фельдшер, скользя по ней взглядом, на секунду задержал шаг, словно засомневался, кого именно здесь вызвали осматривать. Ее узкая кисть с синими прожилками судорожно сжимала на горле края темного шерстяного платка, а огромные черные глаза смотрели сквозь мокрый бушлат майора с холодным, нескрываемым отвращением. В углу у запотевшего ок-

на, поджав под табурет ноги в толстых носках и перекинув через плечо длинную, густую темно-русую косу, сидела худенькая девочка в великоватом сером свитере; ее бледное, тонкое лицо было совершенно неподвижно, а серые глаза глядели в пол с глухой, привычной интернатской отрешенностью.

У нижней трубы отопления, положив тяжелую черную морду на вытянутые лапы, лежал крупный лабрадор. При виде чужих людей пес не зарычал, не поднял ушей и даже не повел носом — только его темные глаза спокойно и тяжело следили за сапогами вошедших.

— Здравия желаю, — глухо, казенной скороговоркой произнес Кравцов, переводя взгляд со стоящего Загорского на длинное тело в линялой рубаше и стоптанных шлепанцах, распластанное на полу между буфетом и столом. — Участковый уполномоченный майор Кравцов. Кто вызывал?

— Вызывал я, господин майор, — ровно, с сухой, отчетливой артикуляцией произнес Загорский, делая короткий, едва заметный наклон головой. — Релитов Алексей Павлович, сын покойного.

Кравцов тяжело вздохнул, переложил папку под мышку и кивнул молодому фельдшеру:

— Давай, Денис, глянь Павла Александровича. Только под ноги смотри, тут стекло битое.

Фельдшер молча прошел вперед, хрустнув подошвой по мелкому осколку граненого стакана, поставил свой рыжий

пластмассовый чемоданчик на край табурета и опустился на одно колено возле тела. Движения у него были заученные, экономные, лишенные всякого любопытства — за ночь это был уже третий вызов на констатацию по району. Он без малейшего удивления взял двумя пальцами стоявший на лбу покойника граненый стакан, переставил его в сторону на сухую половицу, затем взялся за край сложенной вдвое предвыборной газеты и откинул ее к буфету.

В желтом свете кухонной лампы открылось запрокинутое, уже окончательно заострившееся и взявшееся восковой синевой у висков и крыльев носа лицо старого художника с полуоткрытым ртом и редкой седой щетиной на подбородке.

Ангелина Ивановна за столом едва слышно втянула носом воздух и еще выше подняла подбородок, уставившись в темный верхний угол сруба, где висела сухая паутина. Пальцы ее на шерстяном платке у горла сжались так, что побелели ногти.

Фельдшер тем временем щелкнул кнопкой узкого металлического фонарика, большим пальцем левой руки привычно оттянул вверх застывшее веко Релитова и посветил в зрачок. Стекланная, уже подсохшая и подернутая мутной белесой поволокой роговица не дала ни малейшего отклика. Парень выключил фонарик, сунул его в нагрудный карман куртки, приложил два пальца к дряблой, холодной шее старика под челюстью, подержал несколько секунд для очистки совести, а затем, расстегнув две верхние пуговицы фланеле-

вой рубахи, бегло осмотрел грудную клетку, шею и голову, проверяя, нет ли синяков, ссадин или странгуляционной борозды.

— Ну что там? — спросил Кравцов, расстегивая молнию своей дерматиновой папки и доставая бланк протокола осмотра.

— Да все понятно тут, Сергей Николаевич, — буднично, сонным голосом отозвался фельдшер, поднимаясь с колена и отряхивая штанину на сгибе. — Смерть до прибытия бригады, часа полтора-два назад, не меньше. Трупное окоченение в челюсти и пальцах уже пошло, пятна по задней поверхности шеи натекли. Видимых телесных повреждений нет. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, обширный инфаркт миокарда. На фоне хронической интоксикации, само собой — тут вон в сенях стакан некуда поставить.

Он шагнул к столу, брезгливо покосился на сухой селедочный хвост и окурки в блюде, освободил себе локтем угол клеенки рядом с ватманом «АВТОЗАПЧАСТИ» и, достав из чемоданчика бланк констатации смерти, принялся быстро, размашистым врачебным почерком заполнять графы.

Кравцов тем временем повернулся к Загорскому и протянул широкую, с короткими толстыми пальцами ладонь:

— Документы ваши разрешите. И на покойного паспорт, если нашли где лежит.

Загорский без единого слова запустил руку за борт серого

кардигана и подал майору три темно-красные книжечки со сложенным вчетверо листом гербовой бумаги. Паспорт самого Павла Александровича с потертой картонной обложкой и заложенным внутрь зеленым страховым свидетельством нашелся тут же, на нижней полке буфета, за банкой из-под монпансье — его молча, не вставая с табурета, протянула со стороны окна Нина.

Участковый подошел поближе к свету абажура, надел на переносицу очки в тонкой металлической оправе с треснувшей дужкой и раскрыл верхний паспорт.

Несколько долгих минут в кухне слышалось лишь сухое шуршание плотных страниц, поскрипывание шариковой ручки фельдшера да ровный, сытый гул газовой горелки в котле АГВ. Кравцов смотрел в документы долго, гораздо дольше, чем того требовала обычная формальность при ненасильственной смерти старика.

Внутри у майора ворочалось глухое, вязкое, никак не желающее укладываться на место раздражение.

Павла Релитова он знал без малого двадцать лет. Знал каждую половицу в этом пятистенке, куда захаживал то по жалобам соседок на ночной вой приемника, то для профилактической беседы, то просто погреться в обход и выслушать под папиросу очередную длинную, путаную стариковскую байку про «сына Алешку в Ростове». Кравцов был тертый провинциальный сыскарь, съевший зубы на наследственных дрязгах, черных риелторах и поддельных завеща-

ниях, и цену релистовским рассказам знал отлично. За все двадцать лет здесь ни разу не видели ни одной живой души с юга: ни открытки в почтовом ящике, ни денежного перевода на почте, ни единой детской или семейной фотографии на бревенчатых стенах — только этюды маслом в пыльных рамах да пустые бутылки. В опорном пункте этот старый сруб, вплотную примыкающий к кирпичной стене Всехсвятского кладбища, давно числился на особом прицеле: золотые двенадцать соток на самой красной линии Первомайской улицы, которых с потрохами дожидалась хозяйка ритуального агентства «Вечный покой» Анжела Викторовна под расширение гранитной мастерской и склада венков. Все были уверены, что старый бобыль помрет безродным, а участок пойдет как выморочное имущество через муниципалитет, где у каждого был свой интерес.



И вдруг — в четыре часа февральского утра, аккурат в ту самую минуту, когда старик отдал Богу душу, — этот мифический «ростовский сын» стоит посреди кухни живьем.

Но даже не сам факт приезда царапал наметанный глаз участкового. Царапала натура. Кравцов по службе и по родне на Кубани прекрасно знал, как выглядят, как одеваются и как держат себя тридцатисемилетние чиновники или дельцы из Ростова-на-Дону. Там полагались сытая холеность, тяжелый взгляд хозяина жизни, цепкая южная скороговорка с мягким «г», кожаная куртка или добротное кашемировое пальто на вешалке, дорогой телефон в руке и тяжелый внедорожник с ростовскими номерами у калитки.

А перед ним в отцовской застиранной фланелевой рубашке и старом вязаном кардигане стоял высокий, сухощавый, подтянутый в талии человек с выправкой строевого офицера старой школы, с жесткими русыми усами, со старым пулевым или осколочным рубцом у правого виска и с таким холодным, закрытым, чисто петербургским выражением скуластого лица, какое встретишь разве что на старых дореволюционных дагерротипах в краеведческом музее. И ни чемоданов на дорожке в сенях, ни пальто на гвозде у двери, ни следов протектора за воротами — только их собственные следы от кладбищенской стены.

Кравцов потер пальцем ламинированную страницу паспорта *Релитова Алексея Павловича, 1988 года рождения*, по-

косился на водяные знаки на просвет под лампочкой, проверил круглую гербовую печать УФМС по Ростовской области, штамп о прописке на Большой Садовой и постановление об опеке над несовершеннолетней *Ермолаевой Ниной*. Бумага была настоящая, государственная, хрустящая, с тем самым запахом казенной типографии и фабричного клея, который невозможно подделать на цветном принтере.

Сличать было не с чем, придраться по закону — не к чему, а в голове после суток на ногах стоял тяжелый свинцовый звон.

I

Майор снял очки, сунул их в нагрудный карман бушлата, положил паспорта на край стола рядом с бумагами фельдшера и тяжело опустился на табурет у дверного косяка, положив дерматиновую папку на колено.

— Ладно, — глухо сказал он, доставая из кармана дешевую прозрачную ручку с синим колпачком и расправляя бланк объяснения. — Давайте по порядку для протокола, Алексей Павлович. Во сколько прибыли в Гороховск, каким транспортом, как попали в домовладение и при каких обстоятельствах обнаружили тело отца?

Загорский стоял посреди кухни все так же прямо, не присаживаясь на венский стул и глядя на макушку склонившегося над бумагой майора. Он говорил негромко, тщательно

но контролируя каждое слово, стараясь сгладить привычную полковую отрывистость, но самый строй его фраз, чистый, без единого сорного словечка петербургский выговор и сухая отчетливость окончаний звучали в этой прокуренной слободской избе как перевод с чужого языка:

— Прибыли сегодня в начале четвертого часа пополудни. Из Санкт-Петербурга, с Московского вокзала, добрались наемным экипажем... то есть на такси, до поворота с шоссе, далее пешком, дабы не будить соседей светом фар. В дом вошли свободно, воспользовавшись моим дубликатом ключа от наружного замка, каковой был передан мне отцом еще несколько лет назад. В сенях и в кухне горел свет. Павел Александрович лежал на полу возле буфета в том самом положении, в каком вы его застали. Дыхание и пульс отсутствовали, тело уже начинало стынуть. Около четырех часов утра мною был совершен вызов экстренных служб с телефонного аппарата покойного.

— С отцом когда последний раз связывались? — не поднимая головы, скрипел пером по серой бумаге Кравцов. — На здоровье он вам жаловался? На сердце, на давление? Врачи к нему ходили?

— Разговаривали по телефону на прошлой неделе, — сухо ответил корнет. — На недуги Павел Александрович жаловаться не имел обыкновения, однако мне было известно о его давней слабости к спиртному и расстройстве сердечной деятельности. От переезда ко мне в Ростов-на-Дону или по-

мещения в клинику он неизменно отказывался, ссылаясь на привязанность к дому и собаке.

Кравцов кивнул, дописывая строчку, и в этот момент в кухне стало совсем тихо — только фельдшер громко, с треском оторвал заполненный лист справки от корешка да в углу за железным кожухом звонко щелкнула термопара котла.

В этой густой, сухой жаре от мокрого суконного бушлата участкового и сырых ботинок фельдшера поднимался тяжелый, удушливый пар, пахнувший старой овчиной, кислым мужским потом и уличной соляжкой. Ангелина Ивановна, сидевшая на лавке в трех шагах от распластанного на полу мертвеца, чьи желтые, с черными заскорузлыми пятками ступни в сбившихся войлочных шлепанцах торчали прямо перед ней, вдруг мелко, судорожно задрожала.

Для нее, час назад поднятой из мраморной тишины родового склепа, вся эта картина — зловонный труп какого-то пьяного маляра на грязных досках, раздавленный селедочный хвост на клеенке, мужицкий храп газовой горелки и этот грузный, небритый человек в казенном армяке, смеющийся сидеть при даме в присутствии покойника и задавать вопросы ее собственному убийце, — слилась в одну нестерпимую, физически выворачивающую внутренности пытку. Левая рука княжны снова конвульсивно дернулась к горлу, сдирая шерстяной платок; мраморные скулы пошли красными пятнами, грудь высоко взметнулась, и она уже приоткрыла бледные губы, чтобы сорваться на пронзительный, не счи-

тающийся ни с какими последствиями крик.

Загорский уловил это движение боковым зрением раньше, чем она успела издать звук. Не меняя позы и даже не поворачивая к ней головы, корнет чуть скосил глаза к лавке и произнес негромко, почти одними губами, но с такой ледяной, звенящей столичной четкостью, какая мгновенно осаживала истерику в петербургских гостиных:

— *Taisez-vous, Angéline. Pas un mot, je vous en prie.*¹

Княжна задохнулась от ярости. Ее черные глаза метнули в сторону Загорского молнию такого бешенства, что воздух над столом, казалось, пошел трещинами, и она сквозь стиснутые зубы, с безупречным грассирующим прононсом Пажеского корпуса и Смольного института, ядовито выдохнула ему в ответ:

— *Ne me commandez pas, assassin! C'est au-dessus de mes forces de respirer cet air de cabaret à côté d'un cadavre!*²

Шариковая ручка в пальцах майора Кравцова замерла на полуслове, оставив на серой бумаге жирную синюю точку.

Фельдшер Денис, защелкивавший замки своего рыжего чемоданчика, с открытым ртом обернулся к лавке. Кравцов медленно, всем своим грузным корпусом поднял голову от папки. Его тяжелые, воспаленные от бессонницы глаза под набрякшими веками переползли с каменного лица женщины

¹ «Замолчите, Ангелина. Ни слова, прошу вас».

² «Не командуйте мной, убийца! Я не в силах дышать этим кабацким воздухом рядом с трупом!»

в черном платке на спокойного, прямого как аршин Загорского, а затем снова вернулись к Ангелине Ивановне.

Лицо участкового налилось угрюмой, тяжелой казенной краской — той самой реакцией смертельно уставшего провинциального служаки, который в пятом часу утра вдруг сталкивается с непонятной, чужеродной барской блажью на своем участке.

— Я не понял, — медленно, глухим, набрякшим раздражением голосом произнес майор, откладывая ручку на папку. — Это что сейчас такое было, граждане? Мы с вами где находимся — в Париже или в Гороховске Ленинградской области? На родном языке изъясняемся при сотруднике полиции, пожалуйста. О чем разговор?

Загорский чуть заметно напряг скулы, подбирая подходящую для этого века формулу ответа, а Ангелина Ивановна демонстративно отвернулась к окну, всем своим видом показывая, что объясняться с околоточным надзирателем ниже ее достоинства. Пауза затягивалась, становясь опасной.

И тут из угла от подоконника, где на табурете сидела худенькая девочка с длинной русой косой, раздался тихий, буднично-бесконечно усталый детский голос:

— Да ругаются они так, дяденька милиционер. Не обращайтесь внимания.

Кравцов резко повернул голову к окну, уставившись на подростка в великоватом сером свитере.

Нина не поднимала глаз от своих шерстяных носков и

медленно, механически теребила пальцами черную резинку на конце тяжелой косы. В ее узком, бледном лице с большими печальными глазами не было ни хитрости, ни желания кого-то выгородить — только глухая, серая, до оскомины знакомая любому участковому тоска ребенка, выросшего среди вечных взрослых склок.

— У нас мама, — девочка сделала крошечную, едва уловимую паузу на этом слове, но голос ее не дрогнул, — в школе учительницей французского работала в Ростове. И папа тоже знает. Они как начнут между собой собачиться из-за денег или по дороге в машине, так сразу на свой французский переходят, чтобы я, значит, слов не понимала и уши не грела. А тут мы всю ночь ехали, не спали, а дедушка мертвый лежит... Вот ее и затрясло.

Она замолчала и снова уставилась в половицу.

Кравцов смотрел на девочку секунды три, тяжело сопя носом, потом перевел взгляд на бледную, поджавшую губы женщину в платке и на хмурого Загорского. Пружина настроженности в мозгу майора со скрипом отпустила. Объяснение было настолько житейским, мелким и узнаваемым, что разом сбило всю странность ночной сцены: мало ли какие тараканы водятся у приезжей образованной семьи, где жена — нервная училка с гонором, а муж привык командовать.

— Понятно, — буркнул участковый, снова беря ручку и ставя прочерк в графе. — Нервы нервами, гражданка Мещерская, а порядок есть порядок. Все под Богом ходим, тем

более возраст у Павла Александровича был солидный, да и здоровье он сам себе не берег, прямо скажем.

Майор поставил размашистую подпись внизу листа, протянул папку Загорскому: «Вот тут распишитесь, что с моих слов записано верно и претензий к работе служб не имеете», — а пока корнет твердым, прямым, но лишенным старинных росчерков почерком выводил фамилию «Релитов», Кравцов сунул руки в карманы бушлата и как бы невзначай, с тяжелым прищуром уставился на белый круглый рубец у правого виска наследника.

— Слушайте, Алексей Павлович... — протянул участковый, забирая подписанный бланк. — А отец-то ваш покойный, царствие ему небесное, мне тут который год все уши прожужжал: мол, Алешка у меня в Ростове большой человек, по государственной линии идет, чуть ли не в областном управлении сидит, машина с мигалкой, проверки министерские... А я вот смотрю на вас — выправка-то вроде военная, а в бумагах ничего такого не значит. Где трудитесь-то в Ростове, если для протокола не секрет?

В кухне снова стало тихо. Фельдшер у порога переминался с ноги на ногу, поглядывая на часы в телефоне, а черный пес у трубы медленно приоткрыл один темный глаз.

Загорский не отвел взгляда. Он посмотрел сверху вниз прямо в мутные, с лопнувшими красными прожилками глаза майора Кравцова — тем самым спокойным, тяжелым, непроницаемым взглядом кавалергарда, которым некогда встре-

чал секунданта у барьера в Парголово, — и негромко, совершенно ровно уронил:

— Это государственная тайна, господин майор.

Кравцов замер с полуоткрытым ртом. Секунду или две они смотрели друг другу в переносицу в полной тишине, нарушаемой лишь гулом АГВ, и участковому вдруг стало не по себе от этого сухого, каменного лица со шрамом у виска.

А затем Загорский чуть заметно, одними уголками губ под русыми усами криво усмехнулся и спокойно добавил:

— Шучу, разумеется. Мало ли что старику в одиночестве за рюмкой рисовалось, чтобы перед соседями лицом в грязь не ударить. Служил я действительно по ведомственной линии, в аппарате городской администрации. В прошлом году пошел на муниципальные выборы, кампанию проиграл, место под сокращение попало. Так что нынче — человек сугубо частный, состою, как говорится, в резерве и временном отпуске. Потому и приехали без казенного экипажа.

Кравцов медленно выдохнул и криво, понимающе хмыкнул в усы.

Вот теперь для старого участкового все сошлось окончательно, до последнего винтика. Старик Релитов по пьяной лавочке врал втрикороба про генеральские чины сына, а сын оказался обыкновенным сбитым летчиком из областной конторы — продувшимся на выборах чиновником с барскими замашками, да еще и с нервной женой-училкой на шее, который теперь примчался в Гороховск хоть за отцовскую избу у

кладбища уцепиться. И сухость его столичная, и взгляд этот волчий, и отсутствие машины у ворот — все разом получило простое, житейское, понятное милиционерскому уму объяснение.

— Ясно, — уже совсем другим, потерявшим всякий интерес тоном сказал майор, застегивая молнию на папке. — Бывает. Политика — дело такое, сегодня в кресле, завтра за бортом... Сейчас спецтранспорт из морга подойдет, тело заберут на Карла Маркса.

Ждать пришлось недолго. Едва фельдшер Денис, оставив на краю клеенчатого стола розовый листок справки о констатации смерти, выбрался в сени и захлопнул за собой дверь, как за окном в сыром тумане снова заурчал мотор. К калитке, тяжело переваливаясь на ухабах и взвизгнув тормозными колодками, задом подалась облупленная серая «буханка» муниципальной санитарной службы с черной полосой по борту.

Через минуту дверь распахнулась настежь, вообще без всякого стука, и в кухню вместе с клубами морозного пара ввалились двое санитаров — кряжистые, мордастые мужики в прорезиненных темно-зеленых фартуках поверх ватных телогреек и в резиновых сапогах, густо облепленных бурой дорожной кашей с Первомайской улицы. В руках они несли сложенные вдвое брезентовые носилки с алюминиевыми ручками, от которых за версту разило хлоркой, формалином и старым мясным погребом.

Ни на вдовью бледность Ангелины Ивановны, ни на застывшего у стола Загорского санитары не обратили ни малейшего внимания.

— Этот, что ли, Николаич? — деловито осведомился старший, с сизым от ветра и перепоя носом, кивая на ноги в войлочных шлепанцах. — Грузный дед-то? А то у нас в кузове уже двое с района лежат, еле место расчистили.

— Этот, — коротко бросил Кравцов, отступая к окну, чтобы дать им проход. — Давайте аккуратнее на повороте в сенях, там бутылок навалено, ноги не переломайте.

То, что последовало дальше, заняло не больше двух минут, но в тесной, раскаленной кухне показалось вечностью. Санитары со стуком бросили носилки прямо на некрашенные половицы поверх высохшего кофейно-водочного пятна, с оглушительным, режущим уши шуршанием развернули плотный черный полиэтиленовый мешок и принялись сноровисто, с тяжелым кряхтением и хозяйской бесцеремонностью переваливать внутрь застывшее тело Павла Александровича Релитова. Осколки граненого стакана громко хрустели под их резиновыми каблуками; костлявое плечо старика в линялой фланели глухо стукнулось о чугунную ножку стола, сдвинув ее на полвершка, а сбившийся войлочный шлепанец слетел с желтой пятки и остался сиротливо лежать под буфетом.

Ангелина Ивановна сидела, намертво вцепившись пальцами в край деревянной лавки и зажмутив глаза; на ее мра-

морном лбу у корней черных волос выступила мелкая испарина. Нина смотрела на черную клеенку мешка спокойно, не моргая, как смотрят на привычную казенную уборку, а черный лабрадор у трубы даже не пошевелил ухом, когда край брезентовых носилок скользнул в двух вершках от его лап.

Старший санитар взялся за металлический язычок бегунка и одним длинным, резким движением снизу вверх застегнул мешок. Длинная пластмассовая молния взвизгнула в тишине кухни сухо и пронзительно, навсегда смыкаясь над серым, с открытым ртом лицом бывшего лучшего художника Гороховска.

Мужики в фартуках вытерли резиновые перчатки о ветошь, прихватили алюминиевые ручки, но прежде чем командовать «взяли», старший коротко, с привычным прищуром скосил глаза на Загорского:

— Хозяин... тут крыльцо у вас крутое, гололед до самой калитки, да и погрузка внеочередная. На бензин ребятам не найдется? Чтобы довезли батю с уважением.

Загорский молча опустил правую руку в глубокий карман серого кардигана. Там, под паспортом, его пальцы нащупали небольшую, тугую пачку бумажных билетов Банка России — точно такую же материализованную из окружающего вещества бутафорию этого века, как и документы на столе. Не глядя на купюры и не считая их, корнет вытянул верхнюю, хрустящую пятитысячную бумажку кирпично-красного цвета и безглаголиво, двумя пальцами, словно подавал на водку полко-

вому золотарю, протянул ее санитару.

У того при виде номинала на секунду округлились глаза; он быстро, воровским движением сунул купюру за отворот телогрейки, мгновенно подобрался и гаркнул напарнику:

— Витька, бери в ноги, не кантуй! Понесли легонько!

Они подхватили провисшие под тяжестью старика носилки и, пятясь задом, сбивая плечами дверные косяки и звеня пустыми бутылками в сенях, поволокли черный сверток на мороз.

Майор Кравцов задержался у порога. Натянув на седую голову влажную меховую шапку, он оторвал от своего блокнота узкий казенный корешок с печатью опорного пункта и положил его на край стола поверх газеты с селедочным хвостом.

— Значит так, Алексей Павлович, — ровно, казенным голосом проинструктировал участковый. — Тело уходит в судебно-медицинский морг при центральной районной больнице, улица Карла Маркса, дом восемь. Часам к девяти утра подойдете туда с паспортом покойного и со своим, заберете медицинское свидетельство о смерти. Криминала тут нет, возраст и хроника, так что сделают быстро. Прямо через дорогу от морга — ритуальное агентство «Вечный покой», хозяйка Анжела Викторовна, женщина толковая, она тут у нас все захоронения на Всехсвятском оформляет. Зайдете к ней, выберете что по средствам — гроб, оградку, копку могилы. Ну и ко мне на опорный пункт к концу недели загляните,

копию свидетельства занесете для закрытия материала.

Кравцов еще раз медленно, тяжелым взглядом обвел кухню — задержался на каменном лице Ангелины Ивановны, на тихой девочке с косой у окна, на черном псе у трубы и на стенах, где не висело ни одной семейной карточки, — но ничего больше не сказал. Коротко кивнув: «Соболезную», он повернулся и тяжело зашагал через сени на крыльцо.

За окном глухо бухнули задние распашные двери санитарной «буханки», лязгнул засов, затем хлопнула дверца полицейского уазика. Взревели два мотора, синие проблесковые маячки в последний раз мазнули холодным светом по запотевшему стеклу, развернулись в узком проезде и погасли. Шум двигателей, чавкая по соленой каше Первомайской улицы, стал быстро удаляться в сторону Гатчинского шоссе, пока окончательно не растворился в сырой предрассветной вате.

Старые настенные ходики с облезлым жестяным циферблатом над буфетом, которые Релитов заводил по привычке раз в неделю, глухо пробили половину шестого утра.

Загорский не спеша прошел в холодные сени, нащупал в темноте тяжелый кованый крюк наружной двери, со звоном набросил его в железную петлю и вернулся в кухню, плотно притворив за собой створку.

Без покойника на полу и без грузных фигур в мокрых бушлатах просторная бревенчатая комната вдруг показалась еще более голой, душной и невыносимой. Отопление работа-

ло на прежнем пределе: в углу за железным листом монотонно, без единой передышки гудела синяя газовая горелка, от раскаленных бурых труб-регистров валил сухой, пахнущий пережженной пылью и старым скипидаром зной, а посреди некрашенных досок пола, там, где только что лежал хозяин дома, темнело липкое пятно высохшего кофе с водкой, усыпанное мелкими, поблескивающими под лампой осколками граненого стекла и черными разводами от санитарских сапог. Под буфетом валялся одинокий войлочный шлепанец, а на краю клеенчатого стола, рядом с розовым бланком констатации смерти, сиротливо стоял тот самый пустой граненый стакан, который еще полчаса назад служил грузом на мертвом лбу.

Загорский подошел к столу, остановился над опрокинутым венским стулом, который сбили носилками санитары, поднял его и с глухим стуком поставил на ножки.

Только сейчас, когда казенные люди ушли и нужда держать строй перед чужими глазами отпала, по всему его пересобранному, одетому в чужую стариковскую шерсть телу прошла мелкая, противная дрожь. Пальцы корнета, когда он потянулся к лежавшей на клеенке початой желтой пачке «Camel 1913 Original», заметно подрагивали. Его трясло не от страха перед полицией — его колотило от унижительного, жгучего омерзения к той жалкой комедии, которую ему, гвардейскому офицеру и дворянину, только что пришлось ломать над трупом какого-то спившегося богомаза пе-

ред неотесанным уездным будочником, совавшим нос в его фальшивый паспорт и пытаявшимся про ростовские выборы.

Он с трудом вытянул из пачки сигарету. Бумажная гильза с желтым пробковым фильтром показалась его нервным пальцам мягкой и дряблой. Загорский чиркнул спичкой, ломая со второго раза тонкую осиновую соломку, прикурил и жадно, всей грудью втянул дым, надеясь снова поймать то первое, острое головокружение возвращенной жизни, которое спасло его полчаса назад.

Но чуда не произошло. Первая эйфория оживших рецепторов сошла без следа, и теперь рот и гортань корнета обожгло едким, плоским, отвратительно кислым чадом тлеющей селитрованной бумаги и прессованной табачной пыли, вымоченной в каком-то дешевом химическом соусе на фабрике «Петро». В этом дыме не было ни турецкого листа, ни крепости, ни благородства — была та же фальшивая, эрзацная дрянь двадцать шестого года, что и в пластмассовых вывесках за окном.

Загорский с отвращением отвел руку с дымящейся сигаретой в сторону и глухо, сквозь стиснутые зубы выдохнул сирую струю.

И в этот самый миг в углу у нижней чугунной трубы раздалось сухое, размеренное цоканье когтей по деревянному полу.

Черный лабрадор, пролежавший весь визит полиции и са-

нитаров без единого движения, спокойно поднялся во весь свой крупный, ширококостный рост. Не потягиваясь и не встряхивая шерстью, как это делают обычные собаки после долгого лежания, пес тяжелым, мягким шагом вышел на середину кухни, обошел пятно с битым стеклом, остановился ровно в двух шагах от клеенчатого стола и сел на задние лапы.

Загорский, Ангелина Ивановна и сидевшая у окна Нина одновременно повернули к нему головы.

Люцифер сидел прямо, чуть приподняв тяжелую черную морду к матовому стеклянному абажуру. Его темные, глубоко посаженные глаза под крутыми надбровными дугами смотрели не на кого-то одного, а сразу сквозь всех троих, удерживая их в едином незримом перекрестье.

Затем пес заговорил.

Это было страшнее и противоестественнее, чем расступаящаяся кладбищенская глина или полупрозрачные руки у могильного камня. Собака не разевала широко пасть, не высовывала розовый язык и не кривила черные брылья в человеческой гримасе — ее челюсти лишь едва заметно, на полвершка разомкнулись, а прямо из широкой грудной клетки, рождаясь где-то на уровне сомкнутых голосовых связок, в жаркую тишину кухни потек человеческий голос.

Он был низким, сухим, совершенно ровным и лишенным каких бы то ни было эмоциональных модуляций, интонационных подъемов или театральной многозначительности. Так

не говорят ни актеры, ни проповедники, ни земные начальники — так мог бы звучать сам камень или остывшее железо, если бы им понадобилось передать короткую техническую сводку:

— Первая фаза легализации завершена удовлетворительно. Документы приняты к учету, первичный осмотр прошел без отклонений. Однако ваша нынешняя экипировка годится только для ночного осмотра в избе. Выходить в этом тряпье в город при дневном свете нельзя — вы привлечете лишнее внимание на первой же улице.

Загорский застыл у стола с зажатой между пальцами сигаретой, с которой на клеенку длинным серым столбиком упал пепел. Ангелина Ивановна на лавке медленно, словно во сне, начала отодвигаться спиной вглубь бревенчатого угла.

А черный пес, не меняя позы и глядя прямо перед собой, продолжал тем же ровным, сухим, лишенным тембра голосом:

— Слушайте распорядок на утро. Ровно в девять часов открывается пункт выдачи заказов «Озон» на Сенной площади, в двухстах метрах от калитки, синяя вывеска на углу бывших торговых рядов. Туда пойдет девочка. На ваше имя там уже сформирован, доставлен и полностью оплачен заказ: три полных комплекта современной верхней и повседневной одежды, а также зимняя обувь по вашим точным антропометрическим меркам. Восьмизначный цифровой код получения заказа и номер ячейки уже загружены в память Ни-

ны — назовешь их приемщику за стойкой, заберешь три пакета и принесешь сюда. Здесь вы полностью переоденетесь. После этого, в десять часов утра, ты, корнет, и ты, княжна, отправитесь в морг на улицу Карла Маркса за медицинским свидетельством и далее в контору «Вечный покой» к Анжеле Викторовне оформлять погребение старика.

Пес замолчал, сомкнув челюсти. В кухне снова стало слышно, как гудит котел и как капает с крыши талая вода в наст.

Первой не выдержала Ангелина Ивановна.

При первых же звуках этого сухого, выходящего из собачьей глотки голоса ее лицо исказилось такой судорогой мистического омерзения, какой не вызывали в ней ни запах трупа, ни вид собственного убийцы. Она сперва беззвучно хватала воздух побелевшими губами, а затем, когда пес умолк, вдруг с глухим, сдавленным стоном вскочила с лавки, отшатнулась назад, ударившись лопатками о бревенчатый простенок у окна, и обеими руками вцепилась в темный шерстяной платок на груди.

— Замолчи... — голос генеральской вдовы сорвался на хриплый, прерывающийся от ужаса и гадливости крик. — Замолчи сию же минуту, мерзость! Господи Боже мой, что это за гнусный, кощунственный балаган?! Мало того что нас вытащили из освященной земли в этот смердящий, лакейский кабак, мало того что меня сковали одной цепью с моим палачом — теперь нами будет командовать говорящая дво-

ровая псина с ярмарочной кличкой Люцифер?!

Она металась взглядом по кухне, задыхаясь от сухого жара труб и табачного чада, ее черные волосы выбились из тугого узла на затылке и упали на щеку.

— Какая пошлость! Какая низкая, площадная бесовщина! — выкрикнула Ангелина Ивановна, отступая еще дальше в угол и указывая дрожащей белой рукой на сидевшую на табурете Нину. — Если мы с этим негодяем прокляты за наши грехи, если нам суждено гореть в вашей преисподней — пусть так! Но зачем тебе понадобилось мучить и тащить в эту грязь малолетнего ребенка?! Посмотри на нее — на ней же лица нет! Зачем здесь эта несчастная, ни в чем не повинная девочка?!

Сидевшая на табурете Нина вдруг резко, как от удара хлыстом, вскинула голову.

Ее бледное, узкое лицо с высокими скулами мгновенно залилось злой, пятнистой краской, а большие серые глаза сузились, превратившись в две острые, колющие щелки советского волчонка. Она со стуком спустила ноги в шерстяных носках с перекладины табурета на пол, подалась вперед, закинув русую косу за спину, и грубо, звонко, на всю кухню оборвала генеральскую вдову:

— А вы меня не жалейте, тётенька! Поняли?! Нечего тут надо мной причитать! Я не несчастная никакая! Я из восьмого городского интерната, нас там с первого класса учили сопلي не распускать, и подачек ваших барских мне даром не

надо! Сама за себя отвечу, без мамок!

Эта грубая, отчаянная детская огрызка подействовала на корнета Загорского как искра, упавшая в пороховой погреб.

Все, что копилось в нем с той минуты, как он очнулся на обледенелом цоколе собственного памятника, — ужас полупрозрачных, рассыпающихся в прах рук, ледяная дыра под ребрами, пощечина на кладбище, унижительный отчет перед сонным участковым, пятитысячная подачка грязным могильщикам и этот проклятый, воняющий горелой бумагой окурок в пальцах, — разом прорвало плотину офицерской выдержки.

Загорский с силой швырнул недокуренную сигарету прямо в лужу засохшего кофе на полу и рванулся вперед, опрокинув бедром венский стул, который с сухим треском снова грохнулся на доски.

— Довольно! — заорал корнет во всю мощь своих гвардейских легких, багровея лицом и нависая над сидящим черным псом с сжатыми до хруста кулаками; круглый шрам на его правом виске налился сизой кровью. — Хватит с нас этого маскарада! Кто ты такой, черт тебя подери, чтобы распоряжаться нами как крепостными холопами?! Да, я убил женщину! Да, я шулер, бретер и клятвопреступник, я пустил себе пулю в лоб, чтобы не идти на каторгу! Но я человек, слышишь ты, тварь в собачьей шкуре?! А ты — ты вырыл из могилы двенадцатилетнюю девчонку, убитую током, выпотрошил ей душу, засунул в нее свои коды от каких-то лабазов

и посылаешь ее как дрессированную собачонку за тряпьем! Ты чудовище! Ты в тысячу раз хуже и подлее меня!

Он тяжело, со свистом дышал, готовый вот-вот ударить сапогом в широкую черную грудь собаки, но тут же из угла, перекрывая его крик, хлестнул полный неистовой, ядовитой ненависти голос Ангелины Ивановны:

— Замолчи сию же секунду, лицемер! — княжна шагнула от стены к столу, ее белое лицо перекосилось от презрения. — Кто смеет здесь говорить о подлости и чести?! Ты?! Шнурочный душитель, вор, шаривший по моим шкатулкам, пока мое тело еще билось в судорогах на ковре?! Не смей прикрываться этим ребенком, трус — ты дрожишь только за собственную шкуру, потому что боишься снова рассыпаться в труху!

— Замолчите вы, княжна! — бешено обернулся к ней Загорский, срывая голос на фальцет. — Если бы не ваши проклятые бриллианты и не ваш петербургский снобизм...

— Ах, мои бриллианты виноваты в том, что ты шулер и убийца?! — сорвалась на визг Ангелина Ивановна, хватая со стола пустой граненый стакан, только что снятый со лба мертвеца, с явным намерением пустить его в лицо корнету.

— Да заткнитесь вы оба, психи ненормальные! — перекрывая обоих дворян, звонко и злобно закричала с табурета Нина, зажимая ладонями уши. — Орут и орут, как в сумасшедшем доме!

В тесной, раскаленной чугунными регистрами кухне,

под низким потолком, затянутым сизым бумажным чадом «Кэмела», вспыхнул настоящий, захлебывающийся истерический ад. Трое мертвецов из разных столетий, запертые в чужом протухшем срубе, кричали друг на друга, трясясь от ненависти, ужаса и бессилия перед фактом собственного возвращения.

Черный лабрадор не шевелился и не повышал голоса. Он просто открыл пасть на ширину ладони и издал один-единственный короткий звук.

Это не был собачий лай, и это вообще не было звуком в человеческом понимании акустики. Из собачьей гортани вырвался плотный, сжатый до чудовищной массы инфразвуковой и полевой удар — такой глухой, всесокрушающий пространственный хлопок, будто прямо посреди кухни мгновенно схлопнулся вакуумный купол.

Воздух в избе разом обратился в камень. Матовый стеклянный абажур на витом шнуре метнулся под самый потолок; чугунные трубы отопления вдоль стен протяжно, жалобно загудели, осыпая на пол сухую бурую окалину; синее пламя в смотровом окошке котла АГВ сплющилось в тонкую полоску, а запотевшее стекло в оконной раме выгнулось наружу со зловещим треском.

Но главный удар пришелся не по бревнам и чугуну, а прямо по открытым, беззащитным нейронным узлам трех пересобранных мозгов.

Истерику оборвало в одну сотую доли секунды, словно

перерубили топором кабель. Загорского, стоявшего над столом, швырнуло назад с такой силой, что он рухнул спиной на буфет и тяжело осел на четвереньки прямо возле пятна от покойника, хватая ртом воздух. Ангелина Ивановна выронила граненый стакан — он глухо стукнулся о половицу и откатился к печке, — а сама княжна, потеряв опору в коленях, мешком сползла по бревенчатой стене на деревянную лавку, зажимая обеими ладонями виски. Нина на табурете сложилась пополам, уткнувшись лбом в собственные острые колени.

В кухне наступила мертвая, звенящая в ушах тишина.

Люцифер спокойно закрыл пасть, сделал один мягкий шаг вперед и сел прямо перед стоящим на коленях корнетом. Его темные глаза смотрели на людей сверху вниз — без гнева, без торжества, с той ледяной, усталой трезвостью, с какой хирург смотрит на бредивших под наркозом пациентов.

— Вы слишком много о себе мните, — произнес низкий, сухой голос из собачьей груди, и теперь каждое слово ложилось в оглушенную тишину с пудовой тяжестью. — Вы вообразили себя трагическими фигурами в некоем величественном аду. Спешу вас разочаровать. Здесь нет ни ада, ни театра, ни воздаяния. Вы здесь исключительно потому, что лежали в десяти саженях за этой кирпичной стеной, ваш возраст и пол совпали с выдумкой покойного пьяницы, а ваши мозги после смерти оказались достаточно засорены, чтобы не пропустить наружу мое присутствие.

Загорский, опираясь дрожащей рукой о край венского стула, попытался поднять голову, чтобы возразить, но пес посмотрел ему прямо в зрачки — и внутри сознания корнета и генеральской вдовы одновременно, без всякого их желания, с беспощадной механической четкостью вскрылись те самые запечатанные пласты памяти, которые оба они больше века прятали даже от самих себя за красивой декорацией «роковой карточной страсти» и «невинно убиенной добродетели».

— Честь гвардейского офицера? Невинная жертва из высшего света? — сухо и ровно констатировал голос собаки. — Посмотрите на себя без пудры и эполет.

И они увидели.

Перед внутренним взором Загорского — но так ярко, осязаемо и публично, что эту картину в едином контуре видели и Ангелина, и сжавшаяся на табурете девочка, — вспыхнул не парадный плац и не зеленое сукно благородного Английского собрания. Вспыхнула душная, пропахшая клопами, кислым вином и сладковатым чадом опиумных трубок задняя комната полуподвального притона в Вяземской лавре у Сенной площади, осень тысяча восемьсот восемьдесят девятого года. Там, на сальном диване, в расстегнутой, залитой блевотиной батистовой сорочке валялся он сам, корнет Загорский: за неделю до этого он уже не в штосс играл, а за гроши сдавал ростовщикам краденые у собственной матери серебряные оклады с икон и подпаивал в отдельных каби-

нетах шестнадцатилетних модисток с Гороховой для полковых стариков, получая за сводничество отсрочку по фальшивым векселям. Никакого бретерства и никакого демонического рока не было — была мелкая, липкая, трусливая слякоть опустившегося приживала, который полез в спальню к вдове со шнуром в кармане просто потому, что в притоне ему грозили переломать ноги кочергой.

Загорский глухо застонал, закрывая лицо обеими ладонями, усыпанными серой пылью с пола, но безжалостный луч тут же сместился на деревянную лавку — к Ангелине Ивановне.

И ледяная, неприступная княжна Мещерская, только что кричавшая о лакейском веке и оскверненной молитве, вдруг дернулась всем телом, словно с нее посреди площади сорвали платье.

Перед ними открылся закрытый для полиции четвертый этаж доходного дома купца Лопатина на Литейном проспекте — тайные «четверги» под вывеской модной белошвейной мастерской, куда безутешная генеральская вдова в густой траурной вуали приезжала в наемной карете через черный ход со двора. Густой, дурманящий запах жженого гашиша и эфира, зеркальные ширмы, липкий шелк турецких оттоманок и она сама — столбовая дворянка Доробогатова, в полном беспамятстве, с размазанной по подбородку сурьмой, катающаяся по ковру среди пьяных биржевых маклеров, заезжих французских парикмахеров и выгнанных из корпуса

юнкеров, которым она сама же платила из генеральского наследства за самые грязные, немислимые унижения. И Загорского она пустила в свой гороховский дом в тот мартовский вечер вовсе не для светского чаепития — они были повязаны одной и той же петербургской сточной канавой, одним шантажом и одной грязью задолго до того, как шелковый шнур от портьеры лег ей на горло.

В кухне стало так тихо, что было слышно, как осыпается табачный пепел в блюде на столе.

Ангелина Ивановна сидела на лавке, уткнувшись побелевшим лицом в ладони; ее высокая прямая спина под черным платком вдруг согнулась, ссутулилась, превратившись в спину раздавленной, старой женщины. Загорский стоял на одном колене у буфета, глядя в некрашенные доски пола пустыми, выжженными стыдом глазами. Между ними больше не было ни сословного пафоса, ни благородного негодования — оба они сидели в своей подлинной, вывернутой наизнанку наготе.



И тогда в этой мертвой тишине со стороны окна раздался тихий, надтреснутый детский голос.

Нина медленно подняла голову от колен. Ее показная детдомовская злость, которой она только что отбивалась от жалости княжны, исчезла без следа. Она смотрела на сидящего посреди кухни черного лабрадора широко раскрытыми, полными слез и последней, отчаянной надежды серыми глазами — той самой тайной надежды, с которой каждый интернатский ребенок семидесятых годов по ночам под казенным байковым одеялом придумывал себе погибших летчиков-отцов и ищущих его матерей.

— Собака... — совсем тихо, одними пересохшими губами прошептала девочка, и ее пальцы вцепились в край великоватого серого свитера. — А про моих... ты тоже всё зна-

ешь? Скажи мне правду. У меня ведь были папа с мамой? Мне воспитательница в третьем классе говорила, что они геологами на Севере пропали... Они ведь меня искали потом, когда меня у трансформатора убило? Мама плакала?

Черный пес повернул к ней тяжелую лобастую голову. В его древнем сознании не было ни жестокости, ни желания сделать ребенку больно — но не было и лжи, которой люди привыкли загораживаться от реальности.

— Твой отец, слесарь лесопилки Степан Мелких, никогда не был на Севере, — ровно, спокойно и сухо ответил голос из собачьей груди. — Он получил восемь лет лагерей за грабеж склада и умер от туберкулеза в тюремной больнице под Вологдой в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году, когда тебе было четыре года. Он не знал, как тебя зовут.

Нина мелко вздрогнула, ее губы скривились, но она не отвела взгляда.

— А твоя мать, Зинаида Ермолаева, родила тебя в шестнадцать лет от случайной пьянки за танцплощадкой, — без единой паузы продолжил пес. — Твои дед и бабка, чтобы не позориться перед соседями по бараку, не пустили ее с тобой на порог и в тот же месяц сдали тебя в городской дом малютки под расписку об отказе. Твоя мать ни разу не приходила к воротам восьмого интерната и не знала, что в ноябре семьдесят шестого года тебя убило током за трансформаторной будкой. Она пережила тебя ровно на два года и умерла в декабре тысяча девятьсот семьдесят восьмого, в двадцать

восемь лет, от отравления техническим спиртом.

И прежде чем девочка успела зажмуриться, в ее сознание — коротко, четко, как документальный фотоснимок со вспышкой, — легло то, что было на самом деле: промерзший по углам деревянный барак на окраине Гороховска у торфоразработок, тусклая лампочка без абажура на скрученном проводе, заблеванный угол с железной панцирной кроватью без простыни и на полосатом, прожженном папиросами ватном матрасе — скрюченное, отекавшее, синюшное тело молодой еще женщины с ввалившимися щеками, мертвыми пальцами сжимающей горлышко пустой зеленой бутылки из-под политуры.

Нина не закричала. Она только коротко, беззвучно икнула, будто ее ударили кулаком под дых, и по ее бледным, впалым щекам поверх выбившихся у висков русых прядок медленно, крупными каплями покатались совершенно беззащитные детские слезы.

Загорский у буфета с огромным трудом, цепляясь пальцами за край клеенчатого стола, поднялся с колен и тяжело опустился на венский стул. Лицо его было серым, усы обвисли, но он заставил себя поднять глаза на неподвижного черного пса.



— Зачем?.. — хрипло, едва ворочая распухшим от табачной горечи языком, спросил корнет. — Если тебе все равно, кого поднимать из глины... если для твоей защиты нужны просто три мертвых тела за стеной... почему ты выбрал эту грязь? Почему поднял нас — шулера, развратницу и брошенную сиротку? Мало ли в русской земле лежит людей чести, настоящих офицеров, героев, праведников... Поднял бы какого-нибудь генерала двенадцатого года или, не знаю, поручика Лермонтова... — Загорский криво, болезненно дернул щекой. — Хотя Лермонтова, положим, на улице бы узнали по портретам... Но почему именно мы?!

Люцифер смотрел на него спокойно, и в разрезе его черных собачьих век снова проступила та самая тонкая, вековая, едва уловимая складка надмирной иронии.

— Потому что тех, о ком ты говоришь, в земле давно нет, корнет, — негромко ответил пес. — Когда человек проживает свою жизнь до дна, платит по счетам и умирает в мире с собой, его сознание не задерживается в гнилой глине под гранитным камнем. Оно уходит дальше, за пределы этой плотности, и вытащить его обратно в мясную оболочку не может никто — там остается только пустая известковая кость.

Пес перевел взгляд с Загорского на согнувшуюся Ангелину Ивановну и на плачущую без звука девочку у окна:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.